



..... Г. СМОЛИН

МОЦАРТ

ПОСЛАНЕЦ
ИЗ ИНОГО МИРА

Мистико-эзотерическое
расследование

Геннадий Смолин

Моцарт. Посланец из иного мира

«Алетейя»

2018

УДК 929 Моцарт
ББК 85.313(3)5-8 Моцарт

Смолин Г. А.

Моцарт. Посланец из иного мира / Г. А. Смолин — «Алетейя»,
2018

ISBN 978-5-906980-30-4

Интеллектуальная трагедия бога музыки В. А. Моцарта, загадочная история жизни гениального композитора, его любви и смерти, тонко переплетенная с современностью. Представлены сенсационные данные крупнейшего скандала в европейской культуре XVIII столетия, связанного с тайной раннего ухода гения музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Сотрудничество с европейскими коллегами позволило автору книги получить локон, сбритый с головы гения в день смерти Мастера, и передать его для нейтронно-активационного анализа в Государственный ядерный научный центр в Москве. И вот наступило время представить общественности результаты проделанной работы, в которой приняли многие энтузиасты и подвижники из Австрии, России и Германии. Реальный сюжет динамично разворачивается в пределах трех европейских государств: России (Москва), Германии (Берлин, Мюнхен, Майнц) и Австрии (Вена, Зальцбург), двести лет тому назад и в наши дни. Благодаря использованным в работе документам, артефактам и уникальным научным экспериментам, автор подводит читателя вплотную к раскрытию одной из величайших тайн XVIII века, закодированной в гениальном шедевре А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

УДК 929 Моцарт
ББК 85.313(3)5-8 Моцарт

ISBN 978-5-906980-30-4

© Смолин Г. А., 2018

© Алтейя, 2018

Содержание

О тайне вечного гения	7
Вместо вступления	11
Часть первая	13
Возвращение в «Шарлоттенград»	13
Немаловажные обстоятельства	27
Предвосхищение будущего	35
Гений и злодейство	37
Cui bono[3]	50
Noblesse oblige[4]	57
«Волшебная флейта»	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Геннадий Александрович Смолин

Моцарт. Посланец из иного мира: мистико-эзотерическое расследование внезапного ухода Вольфганга Амадея Моцарта

© Г. А. Смолин, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

Выражаю большую признательность немецким ученым-исследователям: Гунтеру Дуде (Мюнхен), Дитеру и Сильвии Кернерам (Майнц), Йоханесу Дальхову (Росток) и Вольфгангу Риттеру (Марбург), благодаря их изысканиям и открытиям «Расследование» приобрело необходимую полноту и законченность. Весьма кстати оказались неоценимые советы и пожелания Игоря Бэлзы (Москва) – энциклопедиста и интеллигентнейшего человека. Так же мне трудно переоценить вклад и роль русских эмигрантов первой волны – этих истинных хранителей великой русской и мировой культуры, а Веру Лурье (Берлин, Вильмерсдорф) хочется поставить первой в литературном ряду виртуального пантеона подвижничества...

Мне хотелось бы поблагодарить ученого-атомищика Николая Захарова, благодаря научным исследованиям и измерениям которого вышла в свет статья в научном журнале с фактическими доказательствами убийства великого композитора.

Большое спасибо академику РАН Александру Портнову за консультации и помощь в аналитическом расследовании того круга потенциальных вельможных персон, кто выдал «ордер на убийство» и ритуально уничтожил композитора.

Низкий поклон писателю-философу Николаю Лунёву за участие в проекте.

О тайне вечного гения

Книга Геннадия Смолина «Моцарт. Посланец из иного мира» посвящена одной из самых таинственных страниц истории мировой культуры – причине болезни и смерти гения музыки, несравненного Вольфганга Амадея Моцарта. История, построенная на документах, фактах и современных расследованиях, где дни нынешние тесно связаны с днями минувшими, апеллирует к святая святых человека, заставляя его задуматься над главными вопросами бытия.

Нонконформизм и свобода духа вместо приспособленчества и подчинения воле сильного, добро и любовь вместо зла и ненависти, бескорыстие и доброжелательность вместо стяжательства и зависти. Это – наследие Моцарта, его урок, преподанный нам своей жизнью и смертью, что как лакмусовая бумажка все прошедшие годы отделяло «своих» от «чужих». И это пребудет всегда, не связанное ни с национальными особенностями, страной проживания, религией, языком, имущественным цензом человека. Главное – взять ответственность за свою жизнь на себя и делать все, на что ты способен, что предопределено тебе свыше. Это диктует нам не только вечная музыка Вольфганга Амадея (возлюбленного Богом) Моцарта, но пример излучающей путеводный свет его жизни и даже смерти.

Смолин построил книгу как социально-психологический детектив, В большей части книги, где приводятся малоизвестные и заново осмысленные старые данные, относящиеся к последним месяцам жизни композитора, а также подвергаются анализу действия его реального окружения, стиль строгий и взвешенный. Скрупулезное исследование этих сознательно искажаемых более двух веков действий и мотивов окружения делают честь автору книги, а также его добровольным помощникам в России, Германии и Австрии. Выводы и доказательства, представленные в опусе Смолина так существенны, имеют такие далеко идущие последствия, что я позволю себе дать не только краткий их пересказ, но по ходу дела и свои комментарии к ним.

В книге собраны все документы, касающиеся последней болезни и смерти Моцарта. В первую очередь – показания его семейного врача доктора Николауса Франца Клоссета, которые представлены в виде записок разных лет, так как архив и дневниковые записи, которые он вёл, наблюдая Моцарта в последний год его жизни, не исчезли бесследно. Чудом сохранились лишь несколько листков бумаги, исписанных его почерком. По утверждению доктора Клоссета «история болезни» Моцарта вплоть до лета 1791 года была пуста, о чем свидетельствует и его сверхнасыщенная творческая, личная и интимная жизнь. Получившая хождение после смерти композитора легенда о якобы «чистой, спокойной уремии», свойственной ему, должна быть отвергнута уже потому, что он до последних часов находился в полном сознании и сохранял гигантскую работоспособность. За три предсмертных месяца им создано две оперы, две кантаты и концерт для кларнета, не говоря уж о том, что он ездил в Прагу для управления праздничным представлением «Дон Жуана» и премьерой оперы «Милосердие Тита», дирижировал первым спектаклем «Волшебной флейты» в «Виденер-театре» Шиканедера и своим последним сочинением – «Небольшой масонской кантатой на основание храма» (за две недели до смерти! – 18.11.1791 г.). И это больной хронической уремией?! Ведь известно, что они неделями, даже месяцами не способны к работе, а последние дни проводят в бессознательном состоянии.

Если и говорить о болезни почек у Моцарта, то острая почечная недостаточность на базе токсико-инфекционного заболевания, что в эпикризе о смерти предлагал консультирующий Клоссета доктор Саллаба, главный врач центральной венской больницы, гораздо ближе к истине – «острому токсическому некрозу». И тут, по словам Клоссета, приведённым Смолиным, «меня на минутку попросил уединиться герр Готфрид Ван Свитен. – Каков Ваш вердикт, доктор Клоссет? – Да как Вам сказать, герр барон... Мы с доктором Саллабой расходимся в диагнозе... – Есть мнение, что это острая просовидная лихорадка, болезнь, всегда

сопровожающаяся характерными изменениями кожи, – вдруг резко заявил Ван Свитен. – У вас все эти симптомы налицо. И потому никаких вскрытий тела не производить, эпикризов не писать!» Этим дали понять, для истории и общественности, что речь должна идти о заразном заболевании – все указывало на быстрое разложение тела. Такой диагноз во многом развязывал руки, позволяя пренебречь даже сложившимся правилом, по которому погребение усопшего может совершаться «не ранее 48 часов».

Моцарт потерял сознание только за два часа до смерти, наступившей 5 декабря 1791 года около 00 часов 50-ти минут. А в три часа пополудни 6 декабря у входа в Крестовую капеллу собора Св. Стефана, где маэстро был главным органистом, уже шло отпевание его тела. Проводить его в последний путь собрались немногие: доктор Клоссет, Ван Свитен, Сальери, Зюсмайр, органист Альбрехтсбергер, благодарный почившему за протекцию в закреплении за ним места главного органиста собора. И никого из родных и семейства Вебер – ни тещи, ни вдовы, ни её сестер. Единственной женщиной, пришедшей проститься, была его ученица, жена друга по масонской ложе, Мария Магдалена Хофдемель, и в горе утраты прекрасная как всегда (ей мы и обязаны сохранению пряди волос Моцарта, данной ей графом Деймом-Мюллером!). Барон Ван Свитен, оплативший похороны Моцарта по третьему разряду, сообщил собравшимся, что согласно декрету Кайзера Леопольда II от 17.07.1790 г. для воспрепятствования возможному распространению инфекции тело маэстро будет оставлено в специально отведенном месте капеллы до наступления темноты. Сопроводять тело на кладбище Св. Марка запрещено. Погребение совершится в отсутствие каких-либо близких людей, кроме могильщиков. Такой представлена скорбная картина проводов в последний путь величайшего из музыкантов мира Вольфганга Амадея Моцарта в этой книге. При этом автор замечает, что диагноз «острая просовидная лихорадка» не встречалось ни до, ни после смерти Моцарта.

Страшная кончина того, чье имя было известно многим, усугубленная посмертным вздуванием тела и его быстрым разложением, вызвавшая необходимость спрятать его так, чтобы никто никогда не смог найти и следа его останков, и потому совершенная без свидетелей, породила массу толков. «Предполагают даже, что он отравлен» – вот лейтмотив тогдашних разговоров и писем венцев. Моцарту отказано в элементарном: ни горсти земли не упало на его гроб из рук близких, ни вдовы, ни друзей, ни братьев масонов не было при его погребении, и все это ради того, чтобы заговор против его жизни полностью удался.

Пришлось смириться с тем, что все это не могло не вызвать нежелательных разговоров среди разных слоев жителей не только Австро-Венгрии, но Европы. Главное сделано – Моцарта нет, и он уже не сможет никого смущать своим свободомыслием и поисками справедливости. Так по сей день и неизвестна могила Моцарта, да и трудно сказать – существует ли она вообще. Гроб с телом Моцарта был после отпевания внесен служителями внутрь Крестовой капеллы, а когда он был оттуда вынесен и куда под покровом темноты отбыл, – сия тайна велика есть. Те, кто сумел проделать все это, заинтересованы в сохранении этой тайны на все времена, а силы эти – ох как значительны!

Заговор сильных мира сего, увидевших в Моцарте с его ярким гением, чувством собственного достоинства и нонконформизмом угрозу вечной своей власти, так же, впрочем, как потом в Пушкине и Лермонтове, тоже обреченных на раннюю насильственную смерть, без статистов свершиться не мог. А их, готовых ради сиюминутных привилегий безоговорочно исполнять все приказы, во все времена предостаточно.

В книге эти статисты, сыгравшие разную роль в гибели Моцарта, и обрисованы по-разному. Вот – один из самых близко стоящих к маэстро в последние месяцы людей, его ученик и почти что прислужник – Франц Ксавер Зюсмайр. Да-да, тот самый, который завершил его Реквием и по его подсказке написал некоторые, не слишком значимые фрагменты «Милосердия Тита», так как сам Моцарт просто не успевал все сделать в спешно заказанной ему Леопольдом II для коронации в Праге опере. Но ведь Зюсмайр, попросившийся к Моцарту в уче-

ники, прежде был учеником Сальери, все время сохранял к нему добрые чувства и хорошие отношения, а в 1794 году по протекции Сальери был сделан капельмейстером Венского оперного театра! Маэстро Сальери даже не требовалось самому подсыпать в чашу Моцарта яд, так близок в последние месяцы был к моцартовскому семейству этот «свинмайр», что часто, когда сам композитор был занят (а занят он был постоянно), тот сопровождал на воды в Баден жену Моцарта Констанцию, которая стала, как считали тогда многие венцы, его любовницей и даже родила от него сына – Франца Ксавера Моцарта. Плохо, кончают свои дни апологеты и статисты зла. В 1803 году 37-летний Зюсмайр скончался при симптомах, похожих на симптомы Моцарта и был похоронен в общей(!) могиле.

1803 год был критичен и для властных недругов Моцарта: в этот год приказали долго жить Зальцбургский архиепископ Иеронимус Колоредо и Венский архиепископ Кристофоро Мигацци. Ну а уж смерти, как у Сальери, в психиатрической лечебнице никто не пожелает.

Те, кто были убеждены, что, скрыв тело Моцарта, они тем самым сделали невозможными доказательства насильственной смерти, оказались посрамлены.

Пришла пора сказать, что утверждение – Вольфганг Амадей Моцарт отравлен сулемой $HgCl_2$, – доказано. Ещё в 1958 году три немецких врача Иоханнес Дальхов, Дитер Кернер и Гунтер Дуда на основе симптомов болезни Моцарта, главными из которых были депрессия, бледность, обмороки, общий отек, лихорадка, дурной запах, специфический привкус и при этом ясное сознание и способность писать, выдвинули и обосновали версию отравления Моцарта ртутью, которая в первую очередь вызывает нефроз почек. Это удалось установить в результате проведения нейтронно-активационного анализа волос Моцарта, вскоре после смерти сбритых под корень императорским и королевским камергером графом Деймом-Мюллером, когда он делал гипсовый слепок его лица, с которого впоследствии отлил бронзовую посмертную маску.

Нейтронно-активационный анализ волосков Моцарта был проведен в Государственном научном центре (ГНЦ), и результаты были опубликованы в «Бюллетене по атомной энергии» за август 2007 г. Ртуть, попадая в организм человека, оседает и в его волосах, а точность метода такова, что проведение исследования возможно даже на одном волоске. Известно, что волосы растут с постоянной скоростью, примерно 0,35 мм. в день, т. е. за 6 месяцев они вырастают до 9–10 см. Моцарт очень дорожил своими волосами и заботливо за ними ухаживал, так что волоски из пряди, сбритой графом Деймом-Мюллером, были от 9 до 15 см. Методика эксперимента такова. Волосок, запаянный в кварцевую ампулу, бомбардировался в активной зоне реактора для активизации исследуемого вещества (Hg). Далее пронумерованные, начиная от корня, сегменты этого волоска длиной по 5 мм., вновь загруженные в кварцевые ампулы, помещались в ядерный реактор на предмет облучения их нейтронами, после чего измерялась их вторичная эмиссия.

Результаты, полученные для более длинного волоска, где по оси абсцисс отложена его длина, а по оси ординат – содержание ртути в граммах на тонну веса, показали, что в день смерти (0 – по оси абсцисс) концентрация ртути у Моцарта составляла 75 г.! на тонну веса, в то время как среднее содержание ртути в живом организме – 5 мг. на тонну веса (более, чем тысячекратное превышение!). Кроме того, видно, что за последние 6 месяцев Моцарта травили сулемой сериями, перемежаемыми относительным покоем. Первая – с 15.06 по 15.07.1791 г., далее 15.08–07.09.1791 г., 15.11–20.11.1791 г. и, наконец, последняя 28.11– 4.12.1791 г. Если сопоставить эти даты с тем, как разные источники описывали состояние Моцарта в последние 6 месяцев, то поражаешься, как через промежуток в два века можно точно проследить всю картину преступления день за днем. Вот так в XXI веке русская наука подтвердила то, о чем в веке XIX во всеуслышание сказал Пушкин.

Как говорили древние римляне – Quod erat demonstrandum! (Что и требовалось доказать!). Авторами работы, представившей научное доказательство отравления Моцарта, являются к. х.н. Николай Захаров и писатель Геннадий Смолин, ранее – физик-атомщик.

Итак, тайное и на сей раз стало явным. Но доколе же мы будем терпеть это тайное, да и явное зло тоже? Ведь страшно не только убийство гения. Страшна посмертная диффамация его имени. «Гуляка праздный» – это еще самое мягкое из того, что до сих пор слышишь и смотришь о Моцарте.

Слушая музыку Моцарта и отмечая ее гармонию и красоту, часто не хотят замечать ее глубины, свободы и особенно света. К постижению его музыки идешь всю жизнь, а ведь ему было только 35, когда его убили. И кроме «покоя и воли», ему всего-то и было надобно – любви окружающих. Так давайте хотя бы на будущее не забывать, что «когда хронопы поют свои любимые песни, они приходят в такое возбуждение, что частенько попадают под грузовики и велосипеды, вываливаются из окон и теряют не только то, что у них в карманах, но и счет дням». И потому будем стараться еще при жизни окружать их теплом и заботой.

Елена Антонова
доктор физико-математических наук

Вместо вступления

Обстоятельства смерти великого австрийского композитора и сегодня, 226 лет со дня смерти Вольфганга Моцарта, побуждают исследователей возвращаться к документам, фактам и преданиям тех далеких лет. В надежде, хоть и призрачной, те достопамятные события, будто Ивиковы журавли, вновь и вновь возвращают нас к нынешним венским и зальцбургским «хранителям Грааля», чтобы приблизиться к истине, иероглиф которой выбил на скрижалях истории русский солнечный гений Александр Пушкин.

Так вот, вся эта круговерть началась с обычной поездки в Западный Берлин, вернее – с прозаической просьбы приятеля: заехать в Вильмерсдорф – предместье германской столицы – передать бандероль с лекарствами для бабушки-эмигрантки. С этого всё и началось. Как будто я нажал на «спусковой крючок», раздался «выстрел», и моя жизнь стала развиваться по иным, необъяснимым правилам и таинственным канонам. Изложенное ниже находится за гранью моего – я имею в виду человеческого – понимания. И, тем не менее, это невыдуманная история жизни и смерти Вольфганга Амадея Моцарта...

Рукопись попала ко мне совершенно случайно. Но по порядку...

Этот манускрипт передала мне перед отъездом в Россию эмигрантка первой русской волны, поэтесса и графиня Вера Лурье, жившая в предместье Берлина – Вильмерсдорфе. То был своеобразный подарок от казачьего офицера Войска Донского – Александра Ивойлова, успевшего передать ей манускрипты о Вольфганге Моцарте. Александр значился в «Казачьем стане» генерала Т. И. Доманова; это формирование оказалось в зоне оккупации англичан и, как она узнала позже, все казаки были выданы советскому командованию под Линцем. Помочь Сашеньке Ивойлову Вера Лурье не сумела, смогла лишь страстно долюбить до конца дней своих...

Во время моего вояжа в Берлин загадочным образом ушёл в мир иной мой приятель и внучатый племянник Лурье Виктор Толмачёв. Следуя наставлениям графини, мне пришлось лично продолжить «дело жизни Толмачёва» и заняться собственным мистико-эзотерическим расследованием, в результате которого были найдены сенсационные данные крупнейшего скандала в европейской культуре XVIII столетия, связанного с тайной раннего ухода гения музыки Вольфганга Амадея Моцарта.

Приступая к изучению доставшихся мне документов, я понятия не имел о тайных ложах, франкмасонах, иллюминатах, об эзотерических знаниях, ничего не знал про обряды посвящения для «профанов», которых рядили в смиренные рубашки масонских лож и прочих эзотерической организаций, руководители которой пытались оспаривать власть самого Господа Бога. Исподволь, мастера и гроссмейстеры убеждают нас в исключительности и высшем предназначении «посвящённых» или масонов, имя которых легион, как записано в Библии.

Ныне я осведомлён об этом, скажем так, чересчур хорошо. Слишком уж часто смерть подстерегала тех, кто, как Виктор Толмачёв, осмеливался жить собственной правдой и переступил ту роковую черту, за которой их поджидала неминуемая смерть. Вопрос в другом и главном: а стоит ли жить по-иному – быть толерантным и амбивалентным, быть конформистом?

За два столетия истории, которую поведали мне эти манускрипты, а если быть точнее – рукописные и иные документы, опалили «по краям» мысли и души не одного человека. Череда смертей вовлекла каждого из них в бешеную пляску, которой не было сил противиться. Теперь пришёл мой звездный час. Я это понял и воочию ощутил на себе. Вот почему я пришел к выводу, что обязан обнародовать то небольшое, что мы знаем (или думаем, что знаем) об Амадее Вольфганге Моцарте. Зачем? Ответ прост. Я надеюсь, что сумею – пусть даже на мгновение

– прервать безумную пляску смерти и лишить её злой колдовской силы, чтобы она не успела поглотить следующие персонажи этой интеллектуальной трагедии.

Задача осложнялась тем, что я сам был вовлечен в этот завораживающий процесс и захвачен вихрем страшных танцев. Прямо на моих глазах смерть обольщала, лаская и обволакивая очередную жертву и все крепче и крепче прижимаясь к её бедрам. Нескончаемая цепь сцеплений событий во временную последовательность, только распаляла смерть, кружа её в мучительно-сладостных па, в ожидании своего вожделенного часа «икс».

Преуспею ли я в своём праведном намерении, не ведаю. Но что меня насторожило – это то, что на меня снизошло некое безразличие, в душе зазвенела леденящая пустота равнодушия. Это случилось после того, как я обнаружил в пакете с переданными манускриптами прядь волос В. Моцарта и договорился с физиками-ядерщиками из государственного научного центра (ГНЦ) о проведении тест-исследований с помощью нейтронно-активационного метода. Снятие характеристик, их анализ, совместно с хронологией течения болезни Моцарта дал бы наконец ответ: был ли отравлен великий композитор или это просто досужие вымыслы. Иными словами, удалось бы фактически доказать преступление в европейской культуре XVIII столетия, гениально описанного Пушкиным, а именно: начиная с июня – вплоть до 4 декабря 1791 года Моцарту с едой и питьем дозировано вводилась двухлористая ртуть – сильнейший металлический яд сулема. В итоге получилось бы, что тот круг вельможных персон, кто выдал «ордер на убийство» и ритуально уничтожил композитора, не ограничивался бы одним только Антонио Сальери.

Есть один момент, который я хотел бы прояснить, прежде чем вы перевернете эту страницу, что я вовсе не рвался распутывать этот клубок тайн, проблем и загадок, поскольку не по своей воле оказался причастным к этой истории. Разгадка проста. Меня заворожила роскошь и красота музыки Моцарта, как и другие реальные персонажи этой истории: русская эмигрантка первой волны, графиня Вера Лурье, австрийский профессор музыки Гвидо Адлер, русский музыковед профессор Игорь Бэлза, ученые-медики и музыковеды из ФРГ Дитер Кернер, Вольфганг Риттер, Гунтер Дуда. Похоже, во всем этом был виновен бог музыки и гениальный музыкант Вольфганг Амадей Моцарт.

Часть первая Noblesse oblige¹

*«Что значит знать?
Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней».*

Иоганн Гёте, «Фауст»

Возвращение в «Шарлоттенград»

*«Ночь! Обольщение! Кокаин! – Это Берлин!..»
Андрей Белый, «Шарлоттенград», 1924 год*

Мой вояж в Германию был обставлен как надо. Мы с Николаем Митченко, моим однокашником по институту, планировали его уже давно, но до реализации наших планов всё никак не доходило. Тогда, в апреле, я чувствовал себя довольно неважно. Сказалось всё: и пресловутый червь сомнений касательно нынешней работы и прозрачность моего будущего. Все это подтачивало мой организм изнутри, а тут сошлось все воедино: меня неожиданно легко отпустили с работы на две недели. Николай прислал вызов, а я в экспресс-манере прошел стихию оформления необходимых документов в германском посольстве.

У меня был неразлучный компаньон, старый мой приятель-технарь Виктор Толмачёв, работающий на кафедре МИФИ. Он был страстно влюблён в творчество великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, организовал музыкально-исторический и просветительский клуб «Кенгуру», рассказывая там о композиторах Германии, России, Италии и Франции. Толмачёв много переводил с немецкого и горел единственной страстью – напечатать в России как можно больше книг по истории музыки. Узнав, что я собираюсь в Берлин, Виктор поинтересовался, не смогу ли я оказать ему любезность – заехать к его дальней родственнице, очень старой и больной женщине, жившей в Вильмерсдорфе, пригороде германской столицы и отвезти ей небольшую бандероль с лекарствами.

Уже дома, собирая сумку и наткнувшись на розовый свёрток от Толмачёва, прочитал адрес на бумажке: фрау Вера Лурье, проживает в предместье Берлина – Вильмерсдорфе, (такая-то улица, № дома). Бандероль от друга из Москвы Виктора Толмачёва (Цветной бульвар, дом №, квартира №, Россия).

Немного подумав, я зашвырнул бандероль на самое дно. И тут же о ней забыл.

И вот документы при мне, спортивная сумка приятно оттягивает правую руку. Мчусь в экспрессе в аэропорт. Слава Богу, самолёт не поезд или автобус. Не успел я занять кресло в салоне аэробуса в Шереметьево-2, как уже приземлился в берлинском аэропорту «Шёнефельд».

¹ Благородное происхождение обязывает (фр.)

Ещё до паспортного контроля приметил однокашника по питерскому Политеху Николая Митченко. Да, это был он, мой славный, немного возмужавший онемеченный Николай фон Митченко! Вот он подходит ближе, уже с тележкой, улыбается, говорит что-то, берёт за руку, здоровается. Мы троекратно целуемся, он опять говорит, а я не слышу. Идём вместе за багажом, долго – почти вечность ждём мою нехитрую поклажу. И я начинаю рассказывать ему о полёте, о наших друзьях-товарищах по Политеху, с которыми связь потеряна окончательно, ещё о какой-то ерунде. Он внимательно и вежливо слушает, рассматривая меня большими, немигающими глазами, и не перебивает.

Получаем наконец-то багаж, и идём в буфет пить кофе.

Он принёс две чашки кофе и круассоны, уселся напротив.

Пьём кофе, расправляемся с круассонами, а я исподволь, с некоторым любопытством рассматриваю его лицо, движения рук, вслушиваюсь, как он говорит... Николай почти не изменился, тот же облик, те же большие печальные глаза; возраст не наложил свой отпечаток: кожа не утратила молодости, а во взгляде пробиваются знакомые искорки радости. Приобретенная немецкость пошла ему на пользу: он кажется высоким, спортивным: ещё ладным и крепким гренадером. Аккуратно одет, вышколен. Европейец что надо!..

Выходим на улицу, садимся в его машину, в салоне – запах хорошего парфюма; мягко трогаемся и несемся из аэропорта в Берлин. Я поглядываю в окно, всматриваюсь и хочу увидеть то, что ожидалось; и мои надежды не обманывают: красивые улицы, сверкающие машины, хорошо одетые люди. Какой великолепный симбиоз построек из старинных и в стиле модерн, а главное – ухоженных домов, зданий – всё, как представлялось по иллюстрациям, роликам из кино, телерепортажам.

Ехали долго, или показалось так. Дом, обыкновенная многоэтажка, каких в Москве полно на окраине. Жена – молодая, красивая брюнетка. Никакая не фрау, а почти что фройляйн.

Николай знакомит нас.

– Ich heiße Lotta («Меня зовут Лотта»), – холодно-то представилась фройляйн и, извинившись: («Entschuldigen Sie!») – ушла.

Меня это не обескуражило, я расплываюсь в счастливой улыбке, выпаливаю своё имя:

– Макс! – и почтительно склоняю голову.

Побросав вещи, мы решили по стародавней русской традиции помыться и попариться... Николай повез меня в термены в «русско-румынские» бани...

Чтобы развязать себе руки и не быть обузой герру фон Митченко и его юной жене, я поселился в недорогом номере гостиницы недалеко от Митченко. На следующий день я вспомнил о просьбе Виктора – навестить его дальнюю родственницу, графиню Веру Лурье, живущую в предместье Западного Берлина – Вильмерсдорфе, и передать ей пакет с лекарствами. Созвонившись с Верой Сергеевной Лурье, мы договорились встретиться на следующий день. Пунктуально, по-немецки: в девять ноль-ноль. Я попросил Николая, подбросить меня до нужного места на его вишнёвом «Опеле».

С утра пораньше, я принял душ, побрился и полил распаренную кожу крепким французским одеколоном. Посмотрелся в зеркало ванной комнаты: выпрямился, втянул живот, расправил плечи – вроде бы, сносно. Форму надо держать, и я дал себе слово, что по возвращении в Москву возьмусь за гантели, штангу, оседлаю тренажеры; буду бегать трусцой или рысцой до Самотёки или – чем чёрт не шутит! – по Воробьевым горам...

Николай был по-немецки точен; и мы минута в минуту въехали в Вильмерсдорф и остановились у сельского типа коттеджа – в получасе езды от центра Берлина. Небольшой дом, расположенный в тени деревьев, – типичный для этих мест пейзаж, отличался безукоризненной немецкой опрятностью и вылизанностью.

Николай предупредил:

– Буду нужен, позвони – приеду за тобой, и он мягко отъехал, оставив меня совершенно одного.

В глаза бросился пейзаж в стиле «а-ля-рюс»: напротив коттеджа у забора русская поленница – она была сложена настолько аккуратно, будто с картин художников-передвижников из России...

Итак, мне предстояло навестить женщину, о которой Виктор сообщил много интересного... Её звали Вера Сергеевна Лурье. Возраст – фантастический: около ста лет. Дочь крупного российского чиновника, дворянка, она мало что смыслила в свои юные годы в политике, когда с родителями спешно покидала Петроград. Лирическая поэтесса Вера Лурье, была в здравом уме и твердой памяти. Чтобы подчеркнуть историзм своего бытия, она окружила себя памятными фото начала прошлого столетия и экспозициями европейских столиц того же периода. С графиней проживала её помощница, Наденька, внучка казачьего генерала Науменко.

Четыре огромные комнаты своего вильмерсдорфского дома старой постройки Вера Лурье сдавала в наём русским студентам. Но ненадолго – в последние годы она работала над книжкой и малейший шум раздражал её, не давал сосредоточиться.

По словам Толмачёва, мадам долгие годы трудилась над мемуарами, а сейчас подыскивала издателя для публикации истории своей жизни, которая у неё началась в 1902 году в Санкт-Петербурге. В своём грандиозном побеге с родителями в 1921 году из советской России юная Лурье попала, как говорится, с корабля на бал. И на берегах Шпрее столкнулась со всем великим, что вынес поток эмиграции из России. Молодая графиня отмечала шумные праздники с известными художниками Иваном Пуни и Элом Лисицким или проводила философские беседы с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом, Виктором Шкловским. Позже в круг её друзей вошли многие видные деятели русской православной эмиграции, крупные философы: Бердяев, Франк. Перед самой войной Вера Лурье близко познакомилась с известным генетиком из СССР Николаем Тимофеевым-Ресовским. Она поддерживала дружеские отношения с ним и его семьёй до падения гитлеровской Германии.

У Лурье сложился тесный круг друзей, среди которых был эксцентричный писатель Андрей Белый, заостривший внимание общественности в 1924 году на «Шарлоттенграде» – местности по обеим сторонам Курфюрстендамм, следующими рифмованными строками:

«Ночь! Обольщение! Кокаин! – Это Берлин!»

Такие русские, как Андрей Белый, порой поражались олимпийским равнодушием берлинцев. Он пытался спровоцировать прохожих-немцев на маломальское удивление, а для эпатажа мог сделать стойку на голове или вывесить на своей спине какое-нибудь абсурдное изречение. Но всё оказывалось тщетным. В конце концов, русский поэт пришёл к пессимистическому выводу:

«Берлинцам этого не постичь. Эта их немецкая приземлённая проза жизни не может охватить того, что выше их разума, а уж тем паче – запредельного, на грани помешательства».

Ныне, как и в 20-х годах берлинцы принимают новых русских из далекой России. Так же равнодушно и даже со смесью безропотности и наплевательства сегодняшние горожане столицы лицезреют на то, как Берлин распухает от эмигрантов, становясь провосточным и даже русским. И это не трогает наследников тевтонских рыцарей.

...Я подошел к сосновой двери под стилизованной крышей и повернул изящным ключом. На звук валдайского колокольчика тотчас отозвалась прислуга – девушка с утонченным славянским обликом – открытым красивым лицом, живыми глазами и пухленькими губами. Она проводила меня в прихожую, залитую дневным светом.

Я сменил обувь, оставил куртку и планшетку и прошел следом за девушкой.

Переступив порог комнаты, я ослеп от яркого луча весеннего солнца, ударившего вдруг из окна. И почувствовал скованность; меня поразила немота. Ошеломление длилось в течение

нескольких секунд. Пока глаза не привыкли, я различал лишь очертания женской фигуры, устроившейся передо мной на диване, спиной к окну.

Помещение было декорировано приглушенными тонами: от кофе с молоком – потолок и стены – до темно-коричневого – мореный дуб антикварной мебели. Длинношёрстный ковёр на полу, накидка на креслах и покрывало на софе вместе с коричневыми ламбрекенами на окнах тоже не выбивались из общей цветовой гаммы.

Я разглядел хозяйку особняка более внимательно. Это была элегантная старая леди с аккуратной причёской льняных волос – высокая, бледная, с правильными чертами лица. Вероятно, она плохо чувствовала себя – её движения были степенными, но как будто давались с трудом.

Я подошел ближе, представился:

– Фрау Лурье, я – друг Виктора Толмачёва из Москвы. Он передал вам низкий поклон и пожелания всего наилучшего. И вот небольшая баннероль с лекарствами, тут целебная мазь и витамины – ретеноиды. Все это, как он надеялся, поможет вам.

Я вручил женщине небольшой пухлый пакет. Она протянула руку с роскошным серебряным браслетом на запястье с дивными инкрустациями из яшмы, малахита, сапфира. У неё были изящные руки с длинными пальцами и маникюром, над которым трудился профессионал.

Она мягко усмехнулась и сказала низковатым, будто прокурренным голосом:

– Благодарю вас, сударь из России. Присаживайтесь. Только ради Бога, не называйте меня фрау Лурье, а просто Вера Сергеевна.

По крайней мере, сейчас. Никогда я не была фрау и, надеюсь, что уже не буду.

Мне стало неловко.

Но Вера Сергеевна стала говорить дальше:

– Боже ты мой, как приятно видеть у себя в гостях соотечественника! Безусловно, это в духе нашего славного Викториши (она делала ударение на «о») – послать мне с оказией лекарственные снадобья из заповедных русских мест. Он ведь хорошо знал, что я на дух не перевариваю ту «химию», которой потчуют здешние врачи, особенно этот ужасный концерн медикаментов, раскинувший щупальца по всему миру. Берлинские доктора невежественны изначально, ни в одной болезни не разбираются, зато так и мечут заумными терминами, что бы скрыть свой непрофессионализм. Да, Вам пришлось истратить на меня своё время. Прошу извинить.

Глядя в ясно-зелёные глаза старой дамы из высшего петербургского света, которая, несмотря на возраст, говорила очень живо, а передвигалась с изумительной грацией, я понемногу успокоился и перестал ощущать себя неуклюжим и неповоротливым чурбаном.

Скоро я был в своей тарелке, сохраняя внешне некое подобие приличных манер. Лаконизм и простота комнаты в неброском английском стиле казались уже своими, по-домашнему покойными. Комната, залитая солнечным пронзительным светом, создавала ощущение покоя и тихой радости. А интеллигентное лицо почтенной графини почему-то казалось до боли знакомым, словно я видел её где-нибудь в поезде или на картине русских классиков в Третьяковке. А может быть во сне?.. Как говорят французы, включился синематограф под названием *déjà vu* («я уже где-то это видел»)

Я стал рыться в кладовых своей памяти, возрождая то, что ещё Виктор поведал мне о Вере Сергеевне Лурье. Делая вид, что внимательно слушаю графиню, я невольно размышлял о хозяйке этого сказочного коттеджа. Я вспомнил о побеге юной Веры с родителями из роскошных гостиных старого Петрограда через Прибалтику в Германию, вернее – в её столицу, в этот район Западного Берлина. Но для каких высших предназначений? Для бескорыстного служения некоей идеи фикс, скорее самопожертвованию во имя высокого чувства, например любви?..

Вера Лурье вышла замуж за отпрыска барона Вальдштеттен, получив титул баронессы Вальдштеттен-Лурье, вошла в превосходную семью, но скоро стала жить отдельно от мужа, в

окружении несколько сомнительного сообщества русских эмигрантов. Эта романтическая чудакватая женщина, довольно экстравагантная, принимала у себя пёстрое многоцветье тамошней богемы, состоявшее из самых различных людей. Разумеется, мадам Лурье часто приходилось выслушивать нарекания по поводу её «эксцентричного стиля жизни, нарядов и суждений». Именно в её доме играли в «невинные игры свободных граждан мира», что, по сути, походило на заседания масонских лож. Ко всему этому с подозрением относился как тамошний свет, так и политический истеблишмент. Тем не менее, Вера Лурье преуспела во всех делах: даже выучилась ткать и прясть не хуже местных бюргерш, потакая традициям и менталитету тогдашних берлинских аристократических кругов. Правда, политический окрас в Германии менялся, уступая место кондовым чёрно-коричневым тонам...

Жизнь резко изменилась в конце июня 1941 года, как только стал реализовываться план «Барбаросса» (в отношении Советского Союза). В период Третьего Рейха фрау Лурье использовала своё высокое положение в обществе, чтобы помогать и спасать перемещённых лиц и, конечно же, учёных. Образовался своеобразный тандем: Лурье – Ресовские. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, крупнейший генетик, был заместителем директора Института исследования мозга. Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма не убоился носить в кармане пиджака до конца войны советский паспорт.

Почему немцы его не трогали? Тут много неразгаданных тайн...

Тимофеев-Ресовский был величайшим учёным-генетиком, он входил в верхний эшелон руководства НИИ, опекаемого самим фюрером и занимался проблемами антропологии – вопросами рас, евгеникой. С приходом нацистов к власти, Николай Тимофеев-Ресовский стал прятать перемещённых европейских учёных и даже военнопленных, помогал многим, кому грозила опасность, предоставляя им спокойную работу в своём институте.

Но его старший сын Дмитрий (по-домашнему – Фома), тогда 18-летний студент физического факультета Берлинского университета, участвовал в делах, действительно, опасных. Он сотрудничал с группой молодых людей, помогавших иностранным рабочим, попавшим в нацистское рабство, бежать и скрываться. Полиция нашла на след этой «молодогвардейской» организации. Старший Тимофеев-Ресовский был арестован в начале 1945 года и брошен в тюрьму. Вера Лурье, используя свои великосветские связи, пыталась вытащить Дмитрия из застенков гестапо, но безрезультатно. Фому Ресовского перевели в концентрационный лагерь Маутхаузен, где он погиб еще до прихода Красной Армии.

Николай Владимирович до последней минуты надеялся, что сын выживет, а потому был в некоей прострации. Чтобы помочь ему, Тимофеев-Ресовский остался в Берлине после капитуляции Германии и не уехал в США, куда его звали, а передал Институт в руки полпредов из СССР. Из-за гибели Дмитрия он пал духом. Вера Лурье, как могла-умела, утешала его, но вскоре ученый, его жена Елена Александровна и младший сын Андрей пропали из её поля зрения.

Они были арестованы и отправлены в СССР. Так же, как и её возлюбленный – казачий офицер Кубанского казачьего войска Александр Ивойлов, успевший передать ей документы и реликвии, связанные с великим Вольфгангом Моцартом. Казачий офицер значился в списках «Казачьего стана» генерала Тимофея Ивановича Доманова; это формирование оказалось в зоне оккупации британцев и, как она узнала позже, все казаки были выданы англичанами советскому командованию под Линцем и препровождены в СССР. Многие были расстреляны или сгнили в Сибири.

Только в 60-х годах прошлого столетия имя знаменитого ученого-генетика Николая Тимофеева-Ресовского вновь всплыло в международных научных кругах в связи с присуждением Кимберевской премии США, а Вера Лурье, узнав об этом, написала в СССР письмо на имя Николая Тимофеева-Ресовского. Но её весточка осталась без ответа; и только через десять лет Веру Лурье нашла короткая депеша из подмосковного Обнинска, где Николай Владими-

рович сообщал, что работает в Институте медицинской радиологии, и вновь интересовался о своём сыне Фоме: нет ли каких-либо документальных следов его окончательной судьбы в Маутхаузене (хотя бы, в захваченных американцами архивах). Вера Сергеевна отправила открытку в Обнинск; но более никаких вестей из СССР на её имя не поступало...

Грозное «мяу» Василия, любимца Веры Сергеевны, кота сиамской породы, нарушило царившую в комнате тишину. Я стряхнул с себя оцепенение и вернулся к разговору.

– Благодарю вас, Вера Сергеевна, за беспокойство обо мне.

Но эта услуга для вас – сушая для меня безделица, – заверил я графиню. – Более того, я, конечно же, премного обязан Вам. Выдали мне только повод, чтобы сбежать из хаоса скучной и беспокойной столицы. А то сидел бы я сейчас в прокуренном кнайпе под звон пивных кружек слушал разногласия завсегдаев, болтающих бог знает о чём.

Вера Лурье искренне рассмеялась.

– Вы, Макс, более, чем правы, – деликатно заметила она. – У нас одни и те же критерии и постулаты в жизни.

Кожа Веры Сергеевны была настолько бела и гладка, что казалось, будто это не старая-престарая графиня, а молоденькая студентка. И эти её изумительные глаза – ярко-зелёные, ясные!.. Никогда не видел таких очей. Чистые, как изумрудные всходы озимых под ясным весенним небом. До умопомрачения прекрасные глаза! Похоже, и морщинки были не фактом её возраста, а игрой света и тени. А смеялась она с той загадочностью и тайной, которые делали её похожей на Джоконду Леонарда Да Винчи.

Искушению смеяться поддался и я. И в тот же миг у меня исчезло чувство неловкости. Утренняя мигрень и внутренний дисбаланс будто улетучились. Все печали ушли без следа. Только роскошное весеннее солнце в проемельках вековых деревьев за окном гостиной да покой, разлитый в мягко освещенной комнате.

Чем дольше я был у Веры Сергеевны, тем становился раскованнее, умнее и обаятельнее. По крайней мере, так мне казалось.

Лурье интересовалась всем без остановки: Москвой, Россией, переменами в обществе, нынешней властью. Потом ещё раз поинтересовалась, как поживает мой друг из Москвы, герр Виктор Толмачёв?

Я как-то неубедительно отозвался одним, но ёмким:

– О'кей! – и для верности выставил вперед большой палец.

Вера Сергеевна кивнула и как-то пристально посмотрела мне в глаза, но тут же переключилась на воспоминания об Андрее Белом.

Внезапно старая леди спохватилась, вызвала девушку-прислугу Надежду, одетую в стародавний казацкий наряд, и попросила подать чай.

Буквально через пять-десять минут Надежда, пылая пунцовыми щеками, вошла с подносом, на котором уместился компактный самоварчик, заварочный чайник из фарфора и большие кружки.

Скоро мы пили крепкий, приправленный пряностями чай, восхитительный на вкус, и беседовали обо всём на свете. Я расспрашивал Веру Сергеевну о состоянии её здоровья. Узнал, что у неё большое сердце, что вот уже в пятый раз врачам приходится подключать аппарат, стимулирующий работу сердечной мышцы. Здоровье ухудшилось в начале года, а до той поры всё было неизменно хорошо. Тем более фрау Вера старалась проводить большую часть дня на природе или как она с усмешкой говорила: «на моём огороде».

– Люблю моцион на свежем воздухе, – призналась она. – Все началось с моего небольшого приусадебного участка. Ещё до войны. Там приходилось много работать физически, отрабатывать добровольную барщину. Все это, несомненно, закаляло организм, а главное врачевало душу. Сейчас так никто не делает. Слишком многое перепоручалось машинам, или другим людям. Организм слабее и дряхлеет.

Ну ладно, дождёмся лета. И я снова окунусь в природу, в садово-огородные дела. В солнечные лучи высвечивали невесомые пылинки.

Сладкий и крепкий чай с бергамотом вдохнул в меня порцию энергии, и я почувствовал себя необыкновенно бодрым, – даже голова слегка закружилась...

Я зажмурился и представил Веру Сергеевну, бредущую по чащобам Подмосковского леса, – её высокую, худощавую фигуру в простеньком ситцевом платье. Захотел представить рядом с ней её соседей – берлинских бургеров, но не получилось: что-то было неестественное в воображаемой картинке: «правильные» немцы в упрощенном и дешевом молодежном одеянии а-ля-рюс.

И вновь послышался голос Веры Сергеевны:

– В последнее время я немного сдала. Но я не ропщу. Он всегда был добр ко мне, поддерживал меня во всем, даже в мелочах. И я надеюсь, что теперь, когда я так нуждаюсь в его поддержке, он не оставит меня.

Поначалу я решил, что под именем «Он» старая женщина подразумевала моего друга Толмачёва. Только потом сообразил, что Вера Сергеевна имела в виду Господа Бога.

Тут я был полностью разделит сторону Веры Сергеевны.

Как только мне становилось плохо или что-то мерзкое оживало во мне, и всё кругом портилось и блекло – меня спасала одна только мысль, что существует Всемогущий Спаситель. И я шёл в ближайшую церковь или отправлялся на метро до станции Бауманская, в кафедральный Елоховский собор... Ещё в разгар оголтелого материализма в эпоху СССР я всегда искренне удивлялся: отчего был наложен запрет на Бога? Ведь немощным, сирым и обездоленным или когда человеку мерзопакостно на душе – нужна вера как надежда и опора.

Хотя, в самом раннем детстве, в классе первом мы со смехом спрашивали у одноклассника, родители которого верили в Спасителя: кто главнее – Бог или наука. К нашей вящей радости одноклассник искренне отвечал: разумеется, Господь Бог. И мы оголтело хохотали, уверенные в своей правоте: что Наука, а вернее – её законы, формулы и расчёты правят бал на Земле и в Космосе.

Разумеется, Вольтер был абсолютно прав, когда сказал, что если бы Бога не было, то его нужно было обязательно выдумать.

При всем моём уважении к религиозным чувствам старой леди (по крайней мере, полагаю, что относился к ним с должным уважением), я не устаю поругивать себя за то, что недостаточно педантично верую, плохо соблюдаю посты, не исповедуюсь батюшке, дабы осознать весь божественный смысл своего существования. Вот о чём думал я, глядя на русскую баронессу Веру Лурье.

Она молчала. Её лицо оказалось наполовину в тени. Контрастность тени и света, заливавшим комнату, была так причудлива, что мне стало не по себе. Пауза затягивалась. Фрау Лурье повернулась к окну и с минуту глядела в него, словно ожидая чего-то или кого-то. Затем вновь устремила взгляд на меня и продолжила разговор о Германии, но, похоже, потеряла свою предыдущую мысль и принялась развивать новую.

Вера Лурье поведала о том, как во времена нацистов она выучилась сучить овечью шерсть, выращивать овощи на маленьком огорожке и даже шить и прясть; о том, как она вставала ежедневно в четыре часа утра, чтобы помолиться в православном храме.

И вновь Вера Лурье, потеряв нить разговора, замолчала.

Помолчав с минуту, она спокойно, с тонким юмором и с каким-то затаенным наслаждением заговорила о смерти.

– Смерти я не боюсь, – категорично заявила Вера Сергеевна.

Невооружённым глазом было видно, что она истово верила в то, что её душа непременно улетит в небеса, а там встретится со всеми, кого она знала, любила и за кого молилась.

После паузы, баронесса заговорила наставительно, будто священник с амвона:

– После смерти, всем нам предстоит заново родиться – духовно.

Смерть только кажется чудовищной нелепостью – это взгляд профанов со стороны, в действительности – она наш старый добрый друг.

А разве можно бояться друзей?..

Честно говоря, я почувствовал себя не в своей тарелке: страшный и неестественный уход из жизни преподносился, как о что-то само собой разумеющееся в бытии каждого конкретного человека.

Вера Лурье, немного помолчав, продолжила говорить, но уже с какой-то тихой радостью:

– Я прожила три жизни, вы меня понимаете, дорогой мой?..

Не уловив смысл её слов, я только пожал плечами.

– ...Первую – вместе с Моцартом, вторую – с Пушкиным и Россией, о которой у меня туманные представления; а нынче вот эту, третью, – опять с Моцартом.

Она снова замолчала. Взгляд её умных пронизательных глаз обжигал мою душу, словно в неё тонкой струйкой вливался раскаленный металл.

Мне уже становилось интересно: куда клонила графиня.

– В принципе, я полагаю, что Моцарт и Пушкин очень похожи или даже идентичны, – сказала она, не спуская с меня пытливого взгляда. – Знаете, великий Шиллер великолепно сказал в своём гениальном «Деметрии»:

Сорвать хочу я паутину лжи, Открою все, что мне известно. Вновь пауза и уже другая мысль Веры Сергеевны:

– Можно ли выразить словами то, что творил Бог музыки – Моцарт, преисполненный духовного подъема и искренности, когда исполнял на фортепиано свою фантастическую музыку. Сам Господь удостоил его такой благодати.

Чуть подавшись вперед, ко мне, Вера Лурье добавила:

– Люди, никогда не знавшие близко тех, кто велик душой, могут не понять этих слов поэта. Для других, например, для меня, много лет находившейся в лоне Православия, смысл сказанного абсолютно ясен.

Знаете, душа человека излучает нечто невидимое глазом, создавая некое биополе или ауру. Все зависит от того, у кого какая аура: у одних она несёт позитив в окружающий мир, у других напротив, имеет другой знак – устремлена в собственное «я» или эго.

И тут окружающий мир вокруг стал уменьшаться, скукоживаясь словно шагреновая кожа, – религиозные пассажи-откровения старой леди и неожиданно прозвучавшая тема по иному обустроенному параллельному миру, – всё это выбивало меня из привычной колеи...

Вера Лурье не дала времени на раздумье, а перешла в атаку.

– Конечно же, вы считаете, что тут оказались чисто случайно? – спросила она и сама же ответила: – Нет, мой русский друг. Я точно знала наперёд, была просто убеждена, что вы – именно тот самый посланник. Разумеется, я не ведала, кто вы и как будете выглядеть – это стопроцентная правда. Попытаюсь вам пояснить...

Я невольно вздрогнул: тема о предчувствиях, подсознании – все это было знакомым и близким, поскольку я в последнее время стал увлекаться этими категориями. В беллетристике, в оккультной или околонушной литературе. Правда, поверхностно – на уровне терминологии или расхожих определений.

Пока Вера Сергеевна делилась со мной своими воспоминаниями, мне было приятно с ней беседовать. Однако, выслушивать рассуждения о тонкостях христианской веры, о вечной человеческой душе или про некие потусторонние силы и её религиозные воззрения было для меня не вполне интересно. И я даже стал откровенно скучать.

Но не успел я вымолвить придумать предлог, чтобы откланяться и уйти, как Вера Сергеевна резко поменяла тему, переключив разговор в иной ключ.

– Вы можете мне возразить, если я скажу: душа Моцарта чудесным образом реинкарнировалась в Пушкине, – неожиданно заявила она и пояснила: – Александр Сергеевич об этом догадывался и пытался рассчитать траекторию своей судьбы, когда работал над своим шедевром «Моцарт и Сальери». Действительно, между Моцартом и Пушкиным много общего. Они даже внешне похожи. Современник маэстро, повстречав Вольфганга Амадея в Берлине в 1789 году, сказал:

«Маленький, суетливый, с туповатым выражением глаз, в общем – непривлекательная фигура». Действительно, располневший, небольшого роста – чуть более 150 сантиметров, этот вечно находящийся в движении человек с большой головой, крупным носом и изуродованным оспой лицом с желтоватым оттенком – внешность, конечно же, не фотогеничная. Чувствуете, какая идентичность? Ну а по темпераменту, остроте языка, нонконформизму – у Моцарта и Пушкина – совпадения просто разительные!

Ну и самое главное – бесспорная гениальность Композитора и Поэта!

Но верно и то, что их сходство выявляется на совсем другом, более высоком уровне. Идентичность душ... – Вера Сергеевна умолкла и вновь заглянула мне в глаза да так, будто собиралась вывернуть наизнанку мою душу. Мне стало не по себе, я даже подумал: «А не схожу ли я с ума, не посетила ли меня шиза?». А может, сама Вера Сергеевна не в себе, психически больной человек?

И я уже был готов встать, откланяться – уйти.

Как вдруг фрау Лурье неожиданно спросила:

– Моцарта вы любите?

Я был огорошен. Вопрос был задан в такой форме и таким тоном, словно Вера Лурье интересовалась: а был ли я когда-нибудь представлен Моцарту, поддерживал ли с ним знакомство и знал его накоротке.

– Чрезвычайно, без всяких границ! – выпалил я и пояснил: – Божественная музыка великого маэстро мне по душе – нет слов. Бесспорно, Моцарт – гений! Но... но я почти ничего не знаю о его жизни да и музыку не всю, а фрагментарно.

– Значит, так тому и быть, – кивнула Вера Лурье и тяжело вздохнула. – Мы с вами, действительно, очень разные люди, вам не кажется? С Моцартом я вступала в жизнь и, видно, с Моцартом скоро её закончу. К тому же, эти ужасные берлинские врачи довершат своё никчёмное предназначение...

Вера Сергеевна замолчала и видимо надолго. Она сидела, не шелохнувшись, положив руки на колени, и смотрела на меня, как строгая учительница на разочарованного её ученика.

Затем она неожиданно спросила:

– Признайтесь, он вам ведь снился?

Её вопрос заставил меня вспомнить нечто почти забытое. Мне действительно снился Моцарт. Точнее, я каким-то фантастическим образом оказался задействованным в фильме «Амадеус», американского режиссера Милоша Формана. Причём я играл роль королевского капельмейстера Антонио Сальери. Сновидение было настолько необычным, что полностью так и не изгладилось из памяти.

– Да, действительно... – пробормотал я.

Мне стоило больших усилий скрыть своё волнение. Я лихорадочно думал, чтобы найти всему этому объяснение: мол, не исключено, что каждому из нас, кто слушал музыку Моцарта, может пригрезиться и образ самого композитора или его врага по венским подмосткам... Эта мысль меня успокоила.

– Да, – повторил я. – Однажды мне приснилось нечто – в общем, чёрт знает что!.. Но почему вас это так интересует?

С трудом обретенное состояние душевного покоя рухнуло в тар-та-ра-ры. Каким-то чужим, раздававшимся ниоткуда голосом – то ли чревоуещателя, то ли экстрасенса – графиня

принялась с невероятными подробностями рассказывать содержание моего давнишнего, полузабытого сна.

– ... Я прошу только одного: подтверди мне все то, что я тебе поведаю, если это окажется правдой! – проговорила она жестко и принялась говорить: – Ты шёл по анфиладам императорского дворца Шёнбрунн в обличии Сальери. Шёл, как плыл, заворожённый музыкой Моцарта. Вернее, ты понимал, что это аккорды божественного Моцарта, хотя ничего подобного прежде не слышал.

В глубине комнат, в небольшой зале, стоял рояль с партитурой. Ты сел, посмотрелся в его чёрное лаковое зеркало и, увидев своё отражение, стал играть известный концерт композитора. Музыка звучала все громче, раскованнее, мощнее. Ты улыбался так, будто играл своё (Сальери) произведение. И вдруг заметил, что ты, твоя душа преобразились. Вспыхнул некий божественный свет. И сразу же тёмные анфилады комнат, небольшая зала озарились – все краски гобеленов на стенах, лепнина потолка словно облил ослепительный белый свет. И ты увидел в перспективе сообщающихся комнат силуэт, а затем фигурку кого-то страшно знакомого, родного и близкого. И ты почувствовал, что это... или нет, скорее осознал, что это Вольфганг Моцарт. Ведь так, так!?

Вера Сергеевна умолкла, задумалась, а потом тихо пробормотала, будто говоря, сама с собой:

– Именно, так оно и было.

Я ловил каждое слово Лурье, потрясённый тем, насколько точно она пересказывала мой сон. Откуда она знала такие подробности? Ведь никому на свете я ни словом не обмолвился о тех сновидениях, которые привиделись мне! А самое главное, что люди чувствовали и думали в этой конкретной ситуации.

Монотонный, металлический голос Лурье вещал дальше:

– ... Ты испугался – нет, не Моцарта, тебя ошеломил тот реализм происходящего, который уже не казался сном. Да, человек не в силах вынести всю эту мощь, сияющий свет и красоту явления, – всё, что пришло к нам неожиданно и нежданно в сновидениях...

Ты зажмурился, зажал уши ладонями, чтобы ничего не видеть и не слышать. Мы так делаем а детстве, будучи маленькими...

Она поправила непокорную льняную прядь своих волос, то и дело ниспадавшую на правую часть лица и закрывавшую глаз.

Затем повернулась к окну и внимательно посмотрела на улицу.

У меня создалось впечатление, будто она кого-то ждала и даже немного нервничала.

Она вновь посмотрела на меня...

Меня шокировало нечеловеческое ясновидение Веры Лурье, которое поразило меня так, что состояние потрясенности не проходило.

Но вот лицо её потеплело, а на глазах навернулись слезы. Похоже, у баронессы были какие-то резоны относиться ко мне с состраданием, даже по матерински жалеть.

Она опять откинула непослушную прядь назад и продолжила своё повествование:

– Но вот кульминация в твоих сновидениях прошла, залы дворца окрасились в естественные тона. Ты открыл глаза – наступило пробуждение. Всё! Ну, говори же: так и было? Или я что-то запамятовала?..

На минуту задумался: когда же он мне снился, этот странный сон? Ах, да! В один из дней или ночей этого безвременья, когда я остро переживал свой развод с женой, мне приснился этот странный сон в ярких красках. Кажется, накануне я ходил на «Амадеуса» Милоша Формана. Он пронял насквозь и даже глубже, потряс до слёз.

... Слушая графиню, я многозначительно молчал.

– Не принимай близко к сердцу, друг мой, – сказала Вера Сергеевна, склонившись в мою сторону.

И тут она неожиданно взяла мою руку в свои ладони – они были прохладными и гладкими, как у ребенка; мои же источали жар и были потными. Погладила меня по голове, точно мальчика, она проговорила обыденным тоном:

– Запомни: когда встретишься с подобным в следующий раз, ты легко выдержишь все испытания.

Лурье вновь сменила тему разговора, и к ней вернулся обычный её тембр:

– Сударь, вы привезли мне русские лекарства. Ваша презентация подразумевает мой ответный ход, и мы с вами поступим согласно ритуалу, принятому в Европе. Теперь моя очередь вручать вам подарок.

Фрау Лурье вновь заговорила со мной нормальным тоном, а я вдруг осознал, где я нахожусь и по какому поводу. Германия, предместье Западного Берлина – Вильмерсдорф. ... А я вновь вернулся на грешную землю в столь привычно-серые будни.

Хотя, ответный ход графини вызвал у меня протест.

– Нет, нет! – вскричал я. – Пожалуйста, не нужно никакой благодарности! То, что я здесь, у вас – уже для меня награда, даже честь.

В самом деле...

Пока я очень неубедительно отказывался от ответного подарка, Вера Сергеевна поднялась с дивана и открыла створку книжного шкафа. На полке лежал какой-то предмет, очертаниями похожий на увесистую бандероль. Свёрток был завернут в пергамент – наподобие древних манускриптов и перевязан пеньковой веревкой; мне померещились даже сургучные печати. Время не пощадило пергамент – тот выцвел, бечёвка была истерта и обтрепана.

– Если говорить корректно, то это рукопись – сказала Вера Лурье, протягивая мне свёрток. – Можно это считать и подарком, но в другом смысле.

Манускрипт в пергаменте, настойчиво предлагаемый мне, странным образом просился в руки. Лишь только он оказался у меня в руках, как всё внутри похолодело, как будто от свёртка исходила реальная опасность...

Это ощущение было знакомо мне по экзаменационной лихорадке во время сессий в институте, когда ещё не вошел в аудиторию и не взял билет. Ощущение: пан или пропал!.. Но тут всё было иначе: я вытянул «экзаменационный билет», который стопроцентно не знал.

Уютно устроившись в кресле, на левой спинке которого безмятежно развалился кот Васька, безвольно вытянув все четыре лапы, Вера Лурье приготовилась, как я понял, к серьезному со мной разговору. Свою речь она повела медленно, будто исполняла священный ритуал; наверное, с единственной целью: чтобы я запомнил каждое её слово:

– Отныне, мой русский друг, на вас ложится серьезная, даже опасная для жизни миссия. Во-первых, ни одна сторонняя душа не должна знать, что вы – обладатель тайных документов, поскольку вы можете поплатиться за это. Во-вторых, постарайтесь не реагировать на домогательства или попытки вторжения в ваши сферы посторонних сил. И в-третьих, когда всё, чем вы обладаете, будет опубликовано и станет явью, тогда ничто не будет угрожать больше вам. ... Так что, главная линия поведения – невозмутимость, смелость и чувство собственного достоинства. И все атаки будут с успехом отбиты!

Затем, словно чуткая антилопа, учуявшая грозящую ей опасность, Вера Лурье встрепнулась, кинула тревожный взгляд в окно. И так же нервно повернулась ко мне.

– ...И если силы Зазеркалья загнали вас в тупик, и выхода нет, не поступайте принципами – используйте ваше главное оружие против зла: мысленно водрузите перед собой Крест Господний. И тёмные силы сдадут все свои позиции.

Опять что-то обвалилось внутри меня, коленки стали ватными, захотелось одного – выбраться отсюда.

– А что мне прикажете с этим делать? – любопытствовал я глупо-растерянным голосом, указывая на пакет.

– Только прочитать – не более того, – отозвалась старая леди. – Хотя... хотя, это половина артефактов, хотя и важная часть своеобразного проекта «Русский Моцартеум». Но не всё сразу. Об остальном поговорим позже...

– Простите, но что это за проект «Русский Моцартеум»? – взмолился я и вдруг вспомнил, что есть её дальний родственник Виктор Толмачёв, который дённо и ночью трудился на ниве музыковедения, регулярно приезжал к Вере Лурье, переводил письма, документы с немецкого на русский.

Баронесса замолчала, будто споткнулась на полуслове, – в комнату вошла девушка-прислуга. Вера Лурье улыбнулась и, подозвав её поближе, шепнула ей что-то на ухо.

Девушка кивнула и отправилась по поручению фрау.

Вера Сергеевна вновь обратилась ко мне и, понизив голос, стала произносить фразы, в которых я не мог уловить смысла:

– К сожалению или к счастью судьбу мы не выбираем, – вдруг заговорила Вера Сергеевна. – Каждый раз мы оказываемся во власти некоей силы, управляющей нами. Люди амбициозные, честолюбивые – заложники идеи-фикс – становятся великими учеными, изобретателями, писателями, композиторами, философами. Всяк существу на Земле определено конкретное место. У каждого – своё предназначение. Что касается великого Александра Пушкина, то он определил, что его предназначение – борьба за свободу и достоинство человека.

Его волшебное оружие – золотое перо Поэта и Писателя. Этой борьбе он посвятил всю жизнь. И поэтому наш солнечный гений сложил голову. Что касается меня, то здесь одержимость другого уровня, иного ряда: одержимость Пушкиным, Моцартом.

Всё началось, когда я была ещё маленькой девочкой... Та же тайная подспудная сила привела меня в Германию, заставив порвать все связи с родительским гнездом, родиной. Те же силы и указали мне цель – создать правдивое жизнеописание гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

– Вы говорите все правильно, – сказал я. – Но я не тот герой, о котором вы думали. Мне кажется, что я не справлюсь.

Графиня пропустила мою реплику мимо ушей.

– Как ни странно, мой молодой друг, но именно великая поэзия Пушкина привела меня к гениальной музыке. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам об этом, – Вера Сергеевна с тревогой выглянула в окно и добавила: – Его музыка завлекла меня и сюда, в Германию, в страну, откуда вышли праотцы Моцарта. А тут революция семнадцатого, железный занавес. И я окончательно поняла, что буду жить тут, поскольку обратного пути в Россию нет... Кстати сказать, мой друг, размышляли ли вы о том, что все страхи, страсти и наваждения – понятия с противоположным смыслом. Они либо приведут вас к истине, тогда нужно будет отречься от всего на свете. Или, наоборот, могут запутать вас буквально в трёх соснах. Гитлером и Сталиным знаете ли, тоже управляли страсти. Другое дело, что оба они были игрушками в руках мировых сил. Хотя, есть вещи, природа которых из века в век будет оставаться строго охраняемой тайной. Тщеславные, завистливые и с чрезмерной гордыней жаждут власти, благородные и невинные душой молятся о том, чтобы обрели тишину и покой сами, а также свои родные и близкие...

Зелёные блестящие глаза Веры Сергеевны будто впились в моё лицо. Я уже перестал понимать, что ей нужно от меня, к чему эти страстные речи.

Но баронесса Лурье, не переводя дух, продолжала свою пламенную речь:

– ... На свете немало людей, отмеченных судьбою, но осознавших слишком поздно, что их удел – растительная жизнь; но поворачиваться лицом к тьме им ни в коем случае нельзя. Это будет гибель. – Она перевела дух и добавила: – Я слишком поздно поняла свою миссию, своё предназначение. Теперь я знаю, в чём мой главный просчёт. Я мечтала выкрасить окружающий мир невинной ослепительно-белой краской. Все же чёрное и серое я либо вовсе не замечала,

либо, в лучшем случае, считала второстепенным или декоративным. Недавно я осознала свою ошибку, да что толку? Моё время истекло, стрелки показывают без пяти минут двенадцать...

Вера Лурье говорила слишком туманно, вуалируя фразы, пересыпая речи подтекстом, который мне не хотелось ни понимать, ни расшифровывать. Я был всецело на стороне этой старой изумительной графини, искренне сочувствовал ей, сожалея о том, что у неё всё так нескладно сложилось.

Я поднялся со стула и, вопреки этикету, подал Вере Лурье руку.

– Простите, Вера Сергеевна, но я действительно не могу взять в толк, что вы имеете в виду. Мне пора идти. Пока я нахожусь в Германии, я смогу быть вам ещё полезен. Созвонимся? Правда, я скоро улетаю в Москву...

Ноги мои стали свинцово-тяжёлыми и с трудом повиновались мне. Я покосился на свёрток, который вручили мне, – я сейчас держал его в левой руке. И осторожно положил презент на край софы. Моё желание отделаться от всей этой «чертовщины» было так велико, что я даже не поинтересовался содержанием пакета.

Вера Сергеевна отчаянно вцепилась в мою руку так, словно собиралась держаться за неё до последнего вздоха.

– Нет-нет, вы должны это забрать с собой! – баронесса сделала ударение на слове «должны», её глаза блестели. – У меня вышел лимит времени, я не могу держать это у себя! Уже был звонок, предзнаменование!.. Уже случилась непоправимое. И не единожды... как тогда, с доктором Клоссетом... Грядёт другая беда, а ведь ставка выше, чем жизнь!..

А время уходит... Только вы и никто иной. Поторопитесь же, друг мой!

Она умолкла, пристально всматриваясь в мои глаза, потом сказала, как ошпарила кипятком:

– Мне только-что сообщили из Москвы: Виктора Толмачёва уже нет с нами. Вы улетели из России, и потому ничего не знаете.

Его устранили те, кто присылал к нам этих посланцев в «сером». Они преследовали когда-то Моцарта, затем пришла очередь других, пока, наконец, они не добрались до Викториши. А теперь обставили красными флажками и мою терра виту – территорию жизни. И потому, мой друг, главное – не паниковать, быть мужественным и идти вперед с открытым забралом.

Я почувствовал противную слабость, дрожь в коленках.

– Разумеется, «люди в сером» обставили всё строго по ритуалу. Над софой, где лежало его тело, была приколотая графическая вкладка, – сказала она. – Если бы ты пригляделся, то на этом рисунке увидел высокую колонну Гермеса-Меркурия, которую украшали 8 символов Меркурия (среди них – голова барана с лирой, жезл-змея, ибис); под ней – мертвец, это архитектор храма Соломона Адонирам. И, скорее всего, там были жуткие сцены жертвоприношений – вверху на фризе, которые можно рассмотреть только через лупу. А перед входом в кабинет Виктора, к дверному проёму был приколот листок, где в двойном квадрате, а это знак комнаты мертвых, был изображен классический знак сулемы – символ S. Это ангел смерти от Меркурия или своеобразный «ордер на убийство».

– Неслыханно! – только и сказал я и спросил: – Итак, тело Толмачёва лежало тоже в позе символа S (сулемы) или ртути?

– Да, – кивнула Вера Сергеевна. – Наконец, сумма цифр его полных лет жизни – 35 – опять-таки чистая восьмерка. Если числам 1 и 2 в алхимии нет соответствия, то число 8 было посвящено ртути, то есть яду, который давался Моцарту с едой и питьем. Вдобавок, на том же рисунке в комнате, где был Викториша, ты нашел бы даже его изображение!.. Он переступил опасную черту, за которой – смерть...

Вера Лурье, потрясенная смертью Виктора, едва сдерживая слезы, рассказала мне о том, что Виктор был её единственным родственником, внучатым племянником, которому она заве-

щала своё состояние, включая редкие документы на немецком языке, касающиеся, как утверждал Виктор, тайны смерти великого Моцарта.

Занимаясь жизнеописанием Моцарта, каждый год Виктор приезжал к Вере Лурье и работал с этими документами. Я попросил Веру Лурье показать ей эти уникальные бумаги и с удивлением обнаружил, что в них содержится информация об исповеди Сальери из церковных архивов Вены. Я поинтересовался, откуда у Веры Лурье эти манускрипты. Вера Лурье рассказывает Максу свою историю любви с казачьим офицером Александром Ивойловым, успешного передать ей эти бумаги, перед тем, как он в числе казачьего стана генерала Доманова, был выдан англичанами Советскому командованию. Вера Лурье сказала, что эти документы ценные и, беспокоясь за свою жизнь, попросила меня забрать с собой как эти бумаги, так и недописанную работу Виктора Толмачёва.

– Возьмите это все с собой в Москву. Прочитайте, изучите, сделайте выводы. Для начала и этого достаточно. Затем жду вас у себя. Непременно возвращайтесь, мой дорогой, – вздохнула Вера Лурье. – И поторопитесь. А то будет слишком поздно. . . . Одно только скажу: это был подарок от казачьего офицера Кубанского казачьего войска Александра Ивойлова – человека, чья отвага заворожила меня. Помочь ему я ничем не могла, сумела лишь страстно полюбить до конца дней своих. . . . И будьте мужественным, нападайте сами – они этого боятся, как хищники, чувствующие в жертве некую «эманацию страха» или «запах» слабости.

Я ощущал себя как тот солёный заяц из притчи, которого гоняли по лесам и долам, пока, наконец, тот не угодил в западню. Так и я. Выдавлив жалкую улыбку, я забрал свёрток и сунул его в чёрный полиэтиленовый мешок.

Поблагодарил Веру Сергеевну за чай, щедрое русское гостеприимство и душевную беседу, клятвенно пообещал, что вскоре позвоню или пришлю письмо. В момент ухода вышла и прислуга Надежда.

– Запомните, Макс, если что случится со мной, то Наденька, Надежда Науменко, всё вам расскажет и покажет. Она тоже русская, вернее – из кубанских казачек. Во время краха гитлеровской Германии её прадед войсковой атаман генерал Вячеслав Григорьевич Науменко принимал участие в спасении регалий – исторического достояния кубанского казачества. Вы, наверное, знаете про тот библейский Апокалипсис, который устроили союзные ВВС в сугубо мирном городе под кодовым названием «Удар грома», когда от авиабомб в феврале 1945 года заживо сгорели, погибли в развалинах домов или сварились в кипятке фонтанов половина населения Дрездена? В тот час её прадед с адъютантом направлялся к коменданту Дрездена за разрешением на выезд, но попали под бомбёжку и едва не погибли. Тогда Казачий штаб сумел вывезти 24 ящика на грузовике с имуществом и регалиями, и бесценный груз доставили в небольшой австрийский городок Ройте. Вот тогда я и повстречалась с бабушкой Наденьки – она была такой же барышней. . . .

Вера Лурье замолчала и внимательно посмотрела на меня. По всему было видно, что она довольна моим визитом. На лице хозяйки сияла благодарность и даже умиление; она вся светилась и была неподражаемо красива, а почему – я не мог никак постичь.

Я откланялся и перецеловался с Верой Лурье и Наденькой Науменко. Удивительно, но мне было так хорошо, как никогда.

По мобильнику вызвал Николая с его «Опелем». Он скоро прибыл в Вильмерсдорф, забрал меня, и мы поехали в Берлин. Возвращались молча, я равнодушно смотрел в окно и размышлял. . . .

Знаковый получился день! Меня по собственной милости затащило в дьявольскую воронку, откуда, как оказалось позже, не было обратного пути. Попавшему в такой переплёт, мечтать о выходе из игры не приходилось. Только вперёд! Иного не дано. . . .

Немаловажные обстоятельства

*«Сорвать хочу я паутину лжи,
Открою всё, что мне известно»*

Ф. Шиллер «Деметрий»

А через три дня Николай провожал меня в аэропорту Шёнефельд. На этот раз мы отдали дань традиционному пиву в баре. Пиво оказалось отменным, а кружки большие, полуведерные. Обменялись малозначащими фразами, попрощались; я пригласил его в гости, он вежливо кивнул:

– О'кей!

И я пошел к стойке на регистрацию. Затем с толпой пассажиров взошел на борт самолета, отправлявшегося в Москву.

– Все, абзац, с Германией покончено, – плюхнувшись в кресло, подумал я, глядя, как земля за бортом провалилась в пропасть.

У меня неожиданно заболела голова. Мигрень достигала такой силы, что меня начало подташнивать, и я попросил у борт-проводницы пакет.

С тихой ненавистью я стал поминутно поглядывать на сумку, где лежал свёрток от фрау Лурье, как будто этот дар был виной всему на свете.

– Стоп! – оборвал я себя. – Причём тут я? По большому счёту это предназначалось для Толмачёва, а не для меня. ...Положу пакет в долгий ящик – и баста! И чего я так разволновался? Спокойно, секретная миссия должна идти как надо, без эмоций.

В течение всех передвижений я практически не выпускал свёрток из рук и, выполняя рекомендации Веры Лурье, никому не обмолвился о нём ни единым словом. Он стал для меня своеобразным оберегом. У меня даже сложилось стойкое убеждение, что бандероль защитит меня от всяких неожиданностей – пока она, разумеется, у меня...

Я уже не припомню, когда впервые подметил за собой склонность к вере. Это было неким новым приобретением или же латентным свойством моей натуры. Надо заметить, что всю прежнюю жизнь мне довелось просуществовать атеистом по невежеству. Я даже полагал, что подобные вещи чужды и противны мне по сути своей. И вдруг – эдакий переворот в моей душе и сознании!..

И если не замечать существования свертка и не вспоминать о странной встрече с Верой Лурье, то осознание высокой миссии тут же улетучивается из моего сознания и кажется нелепостью.

Возвращение в Москву было крайне бедным на события. Хотя, на несколько эпизодов, внешне не связанных между собой, я потом всё-таки обратил внимание.

В аэропорту Шереметьево-2 произошёл некий эпизод, которому поначалу я не придавал особого значения, но который потом явилось своеобразным прологом к череде странных событий.

Когда самолет подрулил к пассажирскому терминалу, поступило сообщение, что где-то в таможенном отделении спрятано взрывное устройство. Эта шалость телефонного хулигана вылилась в длительную задержку; и всем нам пришлось проторчать там более часа, пока специалисты с собаками обшаривали зал, выясняя, соответствует ли истине информация о бомбе.

В помещение, куда нас привели, скопилось множество людей; вдобавок было жарко и душно. Я оказался зажатым между дородной дамой, перегруженной несколькими сумками, смазливой девушкой и худым мужчиной степенного вида. У него был холодно оценивающий

взгляд и узкие, несколько подобранные губы; одет он был во все серое. Худой раздражал меня более всего. Казалось, его снобистская внешность, высокомерное презрение, застывшее как маска на лице, – бесили всех и каждого. Мы ещё долго стояли совершенно неподвижно в проходе, огражденном перилами; людей пропускали по одному.

Этот субъект неопределённого возраста попал в поле моего зрения неожиданно. Его внешность все более и более притягивала мой взгляд. Я рассмотрел его. На его бледном лице, словно обтянутом пергаментной кожей, застыли водянисто-белые глаза. Присутствие худого непонятным образом выводило меня из себя.

Самое странное было то, что у человека в сером костюме не было никаких вещей, тогда как руки у любого из нас были перегружены: кейсами, спортивными сумками, рюкзаками или пакетами из пластика. Несмотря на ЧП, давку и духоту, он был по олимпийски спокоен.

Меня стала раздражать дородная дама, и я повернулся к ней спиной. И – о, черт! – я очутился лицом к лицу с человеком в сером. Наши взгляды встретились. Он выдавил подобие улыбки, которая казалась тут совершенно неуместной. Затем, указав на небольшой кейс в моей руке, произнес с характерным польским акцентом:

– Древние рукописи?

– Вас так это волнует?! – со злостью отозвался я.

– Нам всё известно, документы у вас.

Мне стало не по себе, я промолчал.

Он продолжал:

– Я собираю книги, все, что написано про масонские ложи, иллюминатов, мондиализм.

– А причем тут я? – задиристо спросил я. – Ни масонами, ни заговорами я не интересуюсь.

– В самом деле? – искренне удивился тот и мягко добавил: – И ничего не попадалось что-нибудь в этом роде?

– Нет! – обрезал я. – Я – технарь, человек приземлённый, и фантазиями не занимаюсь.

– А вы вообще читаете что-нибудь?

– Нет. Ничего, кроме про боевиков и бандитские разборки. – пробурчал я. – Плюс воровские авторитеты, ментовские войны и блатные песни.

– Да-да, разумеется, – кивнул он. – Мне тоже претит лезть со своими иконами в чужой монастырь.

Я вдруг понял в чем дело: этот тип раздражает меня даже больше, чем вся эта толкотня в аэропорту. Диалог с худощавым мужчиной в сером плаще взорвал меня изнутри. И чего в душу лезет? Я одарил его одним из своих самых презрительных взглядов. Но он не дрогнул.

– Вы любитель классической музыки? – не унимался тот.

– Да, – выдавил я. – Предпочитаю классический хард рок.

– Вот как... – протянул он. – А я, знаете ли, интересуюсь только музыкой восемнадцатого века. Вы случайно не знакомы с музыкой маэстро Моцарта, из Вены?

Я почувствовал, как в горле у меня сгущается комок тихой ненависти. Казалось, ещё минута-другая – и по достижению критической массы последует нервный срыв. Тогда я переключился на общение с яркой дамой. Медленно, боясь всколыхнуть клокочущую во мне ярость, я повернулся к мужчине в сером спиной.

В тот же миг я увидел, как пальцы дамы с избытком перстней и колец потянулись к ручке одной из ярко-желтых дорожных сумок. Я кинулся на опережение, оторвал от пола обе сумки и решительно двинулся за яркой женщиной. И тут же был награжден её бархатным голосом:

– Благодарю вас, рыцари ещё не перевелись!

Так мы прошагали минут десять-двадцать. Я был верен себе и ни разу не оглянулся назад. Коридор, по которому нас пропускали, окончился. Мы попали на таможенный пост. Впереди была свобода. Теперь я оглянулся, чтобы увидеть мужчину в сером, но того и след простыл. Я

внимательно всмотрелся в лица усталых и сердитых пассажиров, но так и не обнаружил своего преследователя. Тогда я обратился к шедшему за мной хилому молодому человеку в синих джинсах:

– Куда девался тот зануда в сером?

– В сером плаще? – переспросил хляк и, не удосужившись ответить, устремился к свободному в тот момент таможеннику.

Домой, в свой бастион в Лиховом переулке, я прибыл поздно вечером.

И я только обратил внимание на то, что потолок и стены ванной покрылись чёрными пятнами – вероятно, каким-то видом плесени. Гниющий запах грибка, будто валерьянка, успокоил мои взвинченные нервы. Как говорится, и дым отечества... Я вновь оказался в привычной обстановке, ощутив себя в безопасности. Возникло ощущение nirваны только оттого, что всё было, как прежде: моя жизнь и дальше текла в том же русле.

Я распаковал вещи и, прежде всего, опустошил свою спортивную сумку. И только потом решил взглянуть на свёрток, в котором были рукописи: а вдруг они исчезли вместе с человеком в сером? Что тогда сказать фрау Лурье из Вильмерсдорфа?

Взяв в руки пакет, я почувствовал облегчение. Слава Богу, подарок Веры Лурье был на месте, в кейсе. Будучи в ясном уме и полностью отдавая себе отчет в своих действиях, я выдвинул нижний ящик моего раритетного, задубевшего от времени до гранитного камня письменного стола, втолкнул туда объёмистый пакет, задвинул ящик и запер на ключ.

Немного перевел дух.

И стал просматривать почту. Несколько счетов на оплату квартиры, телефона.

Поразмыслив обо всём понемногу и вспомнив нелепую встречу с человеком в сером – агента то ли масонов или спецслужб да ещё неизвестно каких, я решил отложить решение вопроса в дальний ящик и завалился на кушетку.

Спал как убитый.

В полшестого поднялся, – мигрень продолжала немного терзать мою голову. Я пошел на кухню и, словно себе назло, приготовил огромную чашку крепчайшего чая «Ахмад». И вспомнил только что виденный, но уже забытый сон: картины мастеров, какие-то сообщающиеся комнаты – целая анфилада сквозных помещений, стены которых были увешаны холстами в дорогих рамках. Господи, как тут все знакомо!.. Третьяковка или Русский музей – точь-в-точь видения, повторяющие калейдоскоп картин, прирезившихся мне в самолете, а музыкальным фоном была музыка Моцарта. Причём, это был один из тех снов, где реальность фантастическим образом перемешана со сновидениями.

Опять эти навязчивые *déjà vu* («я уже где-то это видел»).

Моя квартира, пропитанная запахами гниения и сырости, напомнила мне средневековый семейный кладбищенский склеп из голливудского ролика, где повсюду царствует сюрреализм, где весь этот виртуальный мир становится явью с помощью полифонии звуков и образов, рождаемых современными аудио и видеотехникой.

Ни свет, ни заря я появился на работе. Войдя в свою прозрачную келью, я автоматически включил системный блок компьютера и откинулся на крутящемся стуле-кресле, ожидая, когда компьютер загрузится. Атмосфера в кабинете была привычная – пыль на подоконниках, спертый воздух. Я машинально открыл фрамугу для свежей струи воздуха.

Не особенно вникая в суть, принялся разбирать бумаги, скопившиеся за моё отсутствие.

Мне было приятно снова очутиться здесь в таком привычном для меня мире столов, заставленных компьютерами, телефонами и факсами, сканнерами и множительными агрегатами. Этот мир был моим на протяжении нескольких лет; он въелся в кожу, в организм и стал утверждаться, по-моему, на клеточном уровне.

Однако после моего возвращения из Берлина он вдруг стал казаться плоским, скучным и неинтересным. Его можно рассматривать, изучать, в нём можно было даже жить, но лишь

до поры до времени. Но он был настолько прогнозируемым, что дальнейшее существование потеряло для меня смысл и комфортность. Не было здесь скрытой энергетики, подтекста, а значит высокого предназначения, а главное – связи с космосом. Эта тихая пристань для души, которую я выстроил для себя, этот удобный декоративный мирок теперь разваливался, как картонный домик, а жизнь моя, бывшая до этого пустой и никчёмной, теперь вдруг преобразилась, приобретая новые краски, звучание и смысл.

И тут меня пронзила мысль о Викторе Толмачёве, о его по сути предсмертной просьбе – передать бандероль его дальней родственнице графине Вере Лурье из предместья Берлина, о навязанной мне бандероли с какими-то документами, предметами.

– Господи! – всколыхнулся я. – Что я сижу?..

Свёрток со сногшибательным презентом графини Лурье у меня дома, да так надёжно спрятан в закромах квартиры, что никто не доберется до тайника, если даже и взломает дверь.

Поднял трубку, набрал номер домашнего телефона Толмачёвых. И только тут сообразил, что в такую рань все ещё спят, но трубку на том конце уже подняли.

– Алло? – спросил незнакомый женский голос.

– Извините, я так рано, – потерянно проговорил я и добавил: – Я по поводу Виктора?

Молчание продолжалось недолго, наконец, на другом конце женский голос сухо произнес:

– Виктора больше нет, он скоропостижно скончался.

– Скончался? – глупо повторил я и добавил: – Не подскажите, где его похоронили?

– На Ваганьковском кладбище, возле колумбария, – и в телефоне запикали частые гудки. Дверь скрипнула, в комнату вошел шеф, мы с ним пожали друг другу руки.

– Как съездили в Берлин?

– Нормально, – односложно ответил я.

– Мгм... а что так рано? Вам ещё отдыхать пару дней – в счет праздника.

– Даже так, – неприкрыто обрадовался я. – Можно воспользоваться?

– Поступайте, как знаете, по своему усмотрению.

– Тогда всего хорошего, до понедельника...

Я машинально вышел на улицу, мимоходом думая, куда же пойти. Мои мысли были заняты сообщением о том, что Виктор похоронен на Ваганьковском кладбище; по-прежнему меня волновала дальнейшая судьба свёртка из предместья Берлина.

Было ещё рано; и я зашагал в направлении Тверской улицы и далее – к Манежной площади. Город уже кишел туристами. Вечно улыбающиеся японцы, увешанные фотоаппаратурой, беспардонные и сытые американцы, громко лающие на своём искаженном английском, правильные до тошноты немцы.

Я выбрался из толпы, свернул к метро и проехал до остановки «Улица 1905 года».

Поднявшись по эскалатору метро, я направился дворами к старинному погосту. И вскоре вышел на крошечную площадь, миновал распахнутые ворота и оказался в тиши Ваганьковского кладбища.

Передо мной посредине асфальтовой дорожки три крупные вороны шумно расправлялись с большим куском поживы – то ли падалью, то ли полуфабрикатом, украденным из павильончиков с хот-догами или шаурмой, разбросанными там и сям.

Центральная аллея была абсолютно пуста. Ни прохожих, ни служителей церкви или ритуальной службы. И оглушительная тишина. Ни единого звука, только клекот и возня пирующих ворон. Впрочем, на необычность происходящего я обратил внимание не сразу, а несколько позже. Поначалу мне все казалось совершенно нормальным.

Я продолжал стоять и смотреть на привычно-серых птиц так же неосознанно, как разглядывал всё остальное – будто мираж. И точно так же ни сердцем, ни душой не воспринимал

возникавшие в моём сознании образы, как будто это были некие знаки или источники света другого мира, который вроде бы пытается или входит в непосредственный контакт со мной.

Но скоро я понял, что тот, иной, параллельный мир громко стучится ко мне в сердце, пытается общаться с моей душой. Это Зазеркалье, с которым я впервые соприкоснулся, показалось мне ошеломительным, коварным и непредсказуемым, ибо я не знал его законов и чувствовал себя в нём совершенно беспомощным и уязвимым.

На главной аллее, возле церкви меня неожиданно окликнул святой отец, волосы которого были увязаны в косицу:

– Вам чем-нибудь помочь, сын мой?

– Нет, спасибо. ... Впрочем, я ищу могилу своего друга, его похоронили здесь недели две назад, я как раз был за границей. Виктор Евгеньевич Толмачёв. Может, вам что-нибудь говорит это имя?

– По странному совпадению, да. Я отпевал его. Пойдемте, я покажу вам место упокоения раба Божьего.

Мы прошли с батюшкой до колумбария, свернули направо.

– Пришли, – сказал святой отец. – Здесь он и упокоился.

Постояли молча.

– Давно не встречал человека с такой чистой и светлой душой, как у покойного, – сказал батюшка и, собираясь уйти, попрощался: – С Богом, сын мой!

Я быстро подошел к священнику, прикоснулся к его руке и смиренно попросил:

– Благословите, батюшка, – и поцеловал его руку.

Он троекратно перекрестил меня.

Я недолго оставался у могилы Виктора, вглядываясь в его лицо на огромной фотографии. На глаза навернулись слезы.

– Прости меня, Виктор, – проговорил я и, стиснув зубы, поклялся: – Даю слово – всё сделаю, как ты хотел.

Боясь разрыдаться, я стремительно зашагал к выходу с кладбища.

За воротами ко мне навстречу вышел незнакомец, одетый как-то нелепо: в какую-то серого цвета толстовку, поддёвку, рубашку навыпуск, рваные замусоленные джинсы; на ногах были огромные яркие кроссовки.

– Привет от тех, кого вы знаете, – таким было начало его речи, перебиваемой астматическим дыханием.

Я поинтересовался, с кем говорю.

– Это Меркурий. Конечно, такой образованный человек, как вы, помните, что Меркурий – не только идол муз, но и посланец богов?

– Чего вы хотите? И откуда вам известно, где я бываю и что делаю? – спросил я.

– Мы хотим, чтобы вы держали свой нос подальше от людей и мест, к которым не имеете отношения, – ответил Астматик. – Иначе однажды поутру вы можете не проснуться. Вас, дорогой мой, посетит ангел смерти от Меркурия.

Астматик помолчал, с едкой улыбкой садомазохиста разглядывая меня, потом продолжил:

– И дабы вы, сударь, не сочли, что это чья-то злая шутка или розыгрыш, то напомним вам о кое-каких эпизодах из вашей несравненной жизни. Фишка в том, что эти историйки, как вы полагали, всеми давным-давно позабыты, о которых, как вы надеялись, никто на свете уже не вспомнит! Нет уж, извините и подвиньтесь – все досконально запротоколировано в нашем досье...

И астматик обмолвился о таких эпизодах из моей жизни, что меня мгновенно вогнало в краску. Затем он красноречиво замолчал и бросил на меня испытующий взгляд, очевидно, ожидая разъяснений.

Я их не дал.

– Значит, договорились, Макс? – спросил астматик.

Я вновь не произнёс ни слова.

– Вот и молодца, – он фамильярно хлопнул меня по плечу и добавил дружелюбно: – Ладно. Правильно делаешь. Ничего не объясняй. Не будешь лезть, куда не надо, а мы забудем о нашем разговоре.

Но заруби у себя на носу – руки у нас длинные, до Кремля дотянутся, если что...

Астматик внезапно исчез, как и появился. Боль обожгла затылок, и меня затошнило.

– Не пойму, что все это значило, – выдавил я сам себе. – Какая-то чушь собачья!..

Если после встречи с жирующим серым вороньём моё сознание находилось в каком-то оцепенении, то теперь я знал, что мне делать. Я летел домой, как на крыльях, ничего не замечал на пути. Поднялся по лестнице в свой полуподвал и поймал себя на мысли, что вернулся домой не совсем по своей воле. Вошёл в квартиру и, открыв холодильник, нашел там только банку прокисшей кильки в томате и заплесневевший батон – припасы остававшиеся ещё со времени отъезда в Берлин. Я выбросил испорченные продукты и обругал себя за то, что по дороге домой не прихватил хоть какой-нибудь еды.

Тогда я заварил крепкого чаю, принес кружку в гостиную и включил телевизор.

Шла программа новостей. Жизнерадостный ведущий, подстраивая свою интонацию под содержание кадров, бойко выдавал в эфир информацию о работе правительства РФ. Он разглагольствовал о том, что со следующего года у бюджетников таких-то категорий резко возрастет зарплата, а Газпром газифицирует сельские районы страны и такими быстрыми темпами, что селяне по комфорту приблизятся к горожанам. И ещё. Поскольку цены на Лондонской и Нью-Йоркской биржах за баррель нефти остаются запредельными, а инфляция в России не достигает порога в 3–4 процента, то все будет тип-топ...

Показали голодовку учителей в далёком Краснотуринске, они требовали повышения нищенской зарплаты. Пока тележурналист перемывал тему про обездоленных россиян, на экране появилась заставка из другого блока новостей: о вручении премии телеакадемикам; на экране замелькали узнаваемые фигуры в смокингах, длинных вечерних платьях. Все сытые, довольные и самовлюбленные до тошноты...

Вновь дали крупным планом телеведущего.

– А теперь спортивные новости, – пробубнил тот.

И я вспомнил, как недавно где-то вычитал, что программы новостей в России кроме освещения событий, передавали в прямой эфир только что происшедшие ДТП, заказные и прочие убийства, результаты землетрясений или техногенных катастроф; или взбудораженных женщин, а то отрететированные марши студентов с плакатами. И бесконечные сериалы про тюрьмы, зоны, милицию, экзов, благодаря которым Россия уже представлялась сплошной тюрьмой, где все говорили только по фене (на уголовном жаргоне) – и полицейские, и бандиты, и добропорядочные граждане, и молодёжь.

А голос за кадром истошно зазывал:

– Что желаете? Насилие? Страдания? Восторг? Смотрите канал эС-Тэ-эС!

Я выключил телевизор и принялся мерить шагами комнату.

Тут мне бросилось в глаза, в какое запустение пришла квартира за время моего отсутствия, каким густым слоем пыли покрылась мебель. Взглянул на диван. Как истрепалась обивка! А прежде я и не замечал этого...

Я уселся за стол, намереваясь разобраться с пачкой счетов, что накопилась за неделю. Но не сумел заставить себя заниматься домашней бухгалтерией.

Вместо этого совершенно бессознательно выдвинул ящик стола и достал свёрток.

В эту ночь я опять мало спал, злоупотребляя крепким чаем. Кстати, сделал открытие: чай куда вкуснее, если добавить в него солидную толику бальзама «Старый Таллинн» и выжать чайную ложку лимона.

Утром я уже был на работе.

Днём на моём столе зазвонил телефон. Секретарша шефа спросила, не могу ли я зайти к нему. Я решил, что шеф хочет получить небольшую консультацию по Берлину. Когда я переступил порог его кабинета, шеф возвышался во весь рост возле своего стола. У него был не вполне миролюбивый вид, как будто я подложил ему свинью и он не знает, что с ней дальше делать. Может, у него разыгралась мигрень?..

– Присаживайся, Макс, – сказал шеф.

Я плюхнулся глубокое кресло.

– Как съездил в Берлин?

– Нормально, – ответил я.

– Ну и чудненько, – сказал шеф и добавил: – У нас с вами всегда были хорошие отношения.

Ведь я прав, Макс?

Я пожал плечами, не понимая, куда клонит шеф.

– Мы всегда высоко ценили вас, Макс, как отличного работника, профессионала в своём деле?

Он выдержал паузу, подошел к окну и стал что-то там дотошно разглядывать. Потом вспомнил про меня.

– Вы знаете, руководить нашим «центром автоматизированного хранения и перераспределения информации» – дело тонкое, – произнес шеф, перекладывая документы с одного угла стола на другой. – Я полагаю так: или ты ведешь дело, несмотря ни на что, или сходишь со сцены и отправляешься выращивать редиску и огурцы куда-нибудь в Рязанскую область.

Я продолжал молчать.

– Проблема в том, что приходится угождать всем. Как говорится, и вашим и нашим. Стараешься, чтобы коллектив отдела не был ущемлен в зарплате, кого-то не выкинули за борт в порядке приведения контингента в соответствие с объемами работы. А устойчивый консенсус с руководством – ведь они оплачивают все счета и дают нам возможность относительно спокойно спать по ночам.

– Понимаю вас, шеф, – кивнул я. – Не завидую вашему статусу начальника.

– Знаете, Макс, – сказал шеф, – иногда случается такое, что на одной чаше весов – интересы вверенного мне коллектива, а на другой – интересы руководства. Тогда приходится идти на компромиссы.

Я всё никак не мог понять, к чему он клонит. Беседа ни о чем начинала раздражать. Мне уже становилось глубоко безразлично, какой оборот примет наша беседа.

– Да, конечно, – поддакнул я начальнику.

– Ну, так вот, – продолжал шеф, – позвольте мне сказать все, что я думаю. Дело в том, что вы там впутались во что-то, а я и знать не желаю. Мне глубоко начхать на ваши политические пристрастия.

Прошу об одном: не желаю выслушивать по телефону угрозы в свой адрес. А в том разговоре, Макс, упоминалось ваше имя. Угрозы! Они выводят меня из равновесия. Вы понимаете меня?

– Какие угрозы? – недоуменно спросил я, приготовившись выслушать шефа до конца.

– Самые разнузданные, Макс, – сказал шеф. – Звонили мне домой. А ведь лишь немногие знают мой домашний номер. Судя по акценту, говорил какой-то иностранец – европеец. Он пытался растягивать слова как коренной москвич. Но у меня идеальный слух. Макс. Я полагал, что с политикой вы давно в разводе. Повторяю, я же не лезу в вашу личную жизнь. Я рад, что у вас всё в порядке, вы путешествуете за границу – у вас своя жизнь, уклад, менталитет. Ну,

причём тут я? Мне не хочется, чтобы по вашей милости моё имя полоскали в разных жёлтых газетах или с экранов ЦТ.

Я не мог взять в толк, что он имел в виду, мне вдруг показалось, что шеф сошел с ума или, как говорится, спятил.

И тут до меня дошел смысл его речи: значит, кто-то решил угрожать мне, запугивая шефа.

– А почему бы вам не сделать передышку на пару недель, не стесняйтесь, берите остаток отпуска, вы его заслужили, – благодетельствовал меня босс.

Вот так прошла эта странная беседа с шефом. Полная недомолвок, недосказанности – какая-то галиматья. Возле своего рабочего места я задержался ровно настолько времени, сколько требовалось, чтобы забрать папку с бумагами, погасить экран компьютера, выключить системный блок.

С тихой радостью я подумал: «Возьму пару недель – они мне во как нужны!»

Толкнув от души входную дверь, вышел на улицу и направился прямо домой.

Оказавшись в своей квартире, понял, что против собственной воли очутился в мире своих ночных кошмаров и полностью отдаю себе отчет в истинности этих слов.

Предвосхищение будущего

*Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь, прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада,
Заря и гаснувший закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный,
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.*

Шарль Бодлер, «Цветы зла»

День проходил за днём, а меня не оставляло то странное ощущение нереальности окружающего мира, которое я испытал ранним утром в аэропорту Шереметьево-2, когда вернулся из Берлина. Казалось, в моём мозгу все перемешалось или сместилось набекрень. Иллюзии, похожие на недавний сон, стали вытеснять действительность; наметился явный крен в соотношении реальности и воображаемого – всё резко изменилось в сторону последнего. Я сбился в восприятии и ощущении времени. Намереваясь выпить чашку чая или приготовить себе яичницу, я открывал холодильник и вдруг вспоминал, что только что плотно отобедал. Головная боль, которую я привез в Москву из Берлина, и которая поначалу то пропадала, то вновь возникала, но ненадолго, теперь преследовала меня постоянно. Мигрень не оставляла в покое ни на день. Спровоцировать головную боль мог всякий пустяк – перепад давления на улице, лишняя чашка чая или какие-то строительные работы, которые затеял сосед сверху: он то сверлил, то стучал молотком, то скрежетал каким-то загадочным инструментом.

Поэтому я часто включал телевизор и смотрел исключительно новости или американские блок-бастеры. Отечественные боевики вызывали у меня аллергию. Это была откровенная халтура, грубо сработанная, по-любительски тошнотворная; нельзя было отличить уголовников от блюстителей порядка – все говорили на блатном жаргоне.

Я выключил телевизор. Мне срочно нужно было выпить. На этот раз я предпочел чашке чая стопку водки. Взял газету, но читать не хотелось – тут же отложил её в сторону. Видимо, выпавший двухнедельный отпуск согрел моё сердце: нужно было его использовать на все сто процентов.

Мне не давала покоя моя встреча с шефом. Ну, накатил на меня мой любимый начальник – правда, мне было все равно, кто конкретно его шантажировал и зачем, а главное – причем тут я? Скорее всего, это связано с моим визитом в Германию, Верой Лурье и бандеролью с рукописями. Ну и что из этого, да и что, собственно, произошло? – убеждал я себя. Ничего. Пустое. Всё было слишком умозрительно и непонятно, а закончилось великолепным таймаутом: я взял отпуск и только через полмесяца должен вернуться на работу.

Сделав променаж по комнате, я плеснул в стопку водки и, зажмурившись, выпил. Внутри провалился дивный живительный огонь! Хотел, было, закусить, но, немного поразмыслив, махнул рукой: водка настолько классная вещь, что не стоит портить впечатление прозаической закуской. Лучше завалиться на кушетку и как следует выспаться. У меня были все основания полагать, что хорошая доза водки поможет быстро и крепко заснуть.

С тех пор как я вернулся в Москву, спать приходилось мало. Наверное, это и была та самая проклятая бессонница, которая появляется всякий раз, когда её не ждешь. Вот и в эту ночь я отключился сразу, но через пару часов проснулся. Взглянул на часы: было ровно три ночи. Последнее время меня мучила постоянная слабость, периодически подташнивало. Но

спать хотелось, и я налил себе ещё солидную порцию шнапса, и, не раздевшись, улёгся в разобранную ещё со вчерашнего приезда постель. И – о чудо! – наверное, впервые за несколько последних дней мгновенно забылся глубоким сном.

Долго ли коротко я спал, не знаю. Пробудился от шума льющейся где-то рядом воды. Застеклённые двери, ведущие в огромный глухой двор, оказались распахнуты. Снаружи бушевала первая летняя гроза, а грохот и всполохи молний врывались в спальню.

– Вот и лето началось! – обрадовался почему-то я.

Медленно поднялся с постели. Голова кружилась от выпитой водки, тело заносило в сторону. Закрыв двери на балкон, я побрел в ванную и принял контрастный душ – обливаясь то холодной водой, то почти кипятком. Процедура пошла мне на пользу. Контрастный душ слегка протрезвил, а вид парфюма – пузырьков с одеколонами, шампунями и кремами на фоне белого кафеля стен немного успокоили нервы. Я насухо вытерся полотенцем.

Мой взгляд случайно упал на зеркало, и я обнаружил, что, кажется, перепил: лицо, глядевшее на меня из зеркала, не имело ни малейшего сходства с тем, что я привык видеть ежедневно. Голова незнакомца была больше моей, пепельные волосы зачесаны назад.

На лице выделялся большой мясистый нос, кожа была изъедена оспой, щеки были впалыми, чувственные губы – плотно сжаты.

В больших печальных глазах пряталась ироничная улыбка. И самое, пожалуй, поразительное: где-то я уже видел его!..

Я счёл, что всему виной ставшая чуть ли не хронической бессонница и две чарки водки натошак. Желая избавиться от наваждения, я поднес руку к лицу. Но что это?! Рука в зеркале не двинулась с места. О, боже ты мой! Рука и не походила на мою: небольшая с натруженными пальцами, – они были короткие и вывернутые от постоянной работы и напряжения.

Хронометр отсчитывал время, а мираж не исчезал.

Я зажмурился, подставил голову под холодную воду. Но когда снова поглядел в зеркало, то лицо, до боли знакомое, красовалось в зеркальном овале, а чужие глаза с ироничной улыбкой внимательно смотрели на меня, подтрунивая:

«Ну, что, сударь, страшно или очень страшно?! Я уже здесь!»

Тогда я со всего маху стукнул кулаком по зеркалу. Стекло разлетелось вдребезги. Я порезался, хлынула кровь.

Пока я делал перевязку, пытаюсь остановить кровотечение, то все кругом заляпал и залил кровью. Меня охватила противная дрожь, левый глаз поразил тик, который я никак не мог унять. Зато – незнакомец из зазеркалья исчез, как будто его и не было, а в каждом осколке подрагивало крошечное отражение моего, а не чужого лица.

Гений и злодейство

*Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердий, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!*

А. Пушкин «Моцарт и Сальери»

Одна мысль, одна навязчивая идея преследовала меня: добраться до моего раритетного письменного стола, где покоится свёрток, и выяснить, что представляет собой дар Веры Лурье. И какова моя дальнейшая роль в судьбе этих неизвестных документов, каким-то образом связанных с жизнью и смертью Вольфганга Амадея Моцарта.

Первым делом я заварил крепкого чая, выпил кружку до дна и лишь тогда приступил к самому главному. Дрожащей рукой я открыл ключом замок письменного стола, выдвинул нижний ящик и осторожно извлек свёрток с рукописями.

За окном уже начинало светать. Мои чувства напряглись до предела – слух, обоняние, память все было обострено.

Я взял кухонный нож, разрезал жгут, надорвал плотный пергамент. Под ним я обнаружил упакованные в целлофановую плёнку, пожелтевшую от времени, своего рода альбом для фотографий, где вместо снимков были письма, а рядом был дан перевод на русский.

Текст писем, исполненный красивым готическим шрифтом, наводил на мысль, что автор депеш был гуманитарий до мозга костей. Таким же каллиграфическим почерком был исполнен перевод. Наверняка, эту кропотливую работу выполняла дотошная Вера Лурье.

Я устроился поудобнее в кресле, стал читать рукопись, посматривая в сноски фрау Лурье. Вековой возраст эпистолярия, за которым к тому же и охотились, завораживал и манил...

Сверху на титульной странице красовалось вензелем начертанное слово «Моцарт». Чуть ниже той же аристократической рукой, но мелкими буквами был выведен перевод немецкой фразы: «Композитору Борису Асафьеву от профессора по истории музыки Гвидо Адлера». Вот так. Строки немецкого текста, казалось, мерцали, становясь то ярче, то тусклее, когда я всматривался в страницу, и притягивали меня к себе, словно бездонная морская глубина, которая завораживает и манит тебя в свои чертоги.

Приступая к чтению рукописи, я и слыхом не слыхивал о франкмасонах, иллюминатах, ничего не знал о тайных обществах, масонских ложах, орденах, о таинственных обрядах посвящения в этих эзотерических организациях, руководители которых на протяжении сотен лет пытались соперничать на Земле с самим Всевышним. Они, как я понял, убеждают нас в своей исключительности и высшем предназначении «посвящённых» – братьев-масонов. Нынче я осведомлен об этом, скажем так, чересчур хорошо. Но тут свои правила игры, которые слишком серьезны, а порой жестоки, чтобы ими пренебрегать. Слишком уж часто смерть подстерегает тех, кто осмеливался жить по своей правде, игнорируя роковую черту, разделяющую два мира.

По всей видимости, это как раз случилось с моим добрым приятелем Виктором Толмачёвым. Он переступил ту самую роковую черту, за которой его поджидала смерть. В контексте сказанного, вопрос можно поставить в другой плоскости: а стоит ли жить по-иному? Как говорили в стародавние времена, по кривде?..

Помнится, в Берлине Вера Лурье спросила меня: «Вы знаете Моцарта?» Разумеется, в то время я не осознавал истинного смысла этого вопроса. Теперь здесь, в Москве, возможно, мне суждено постигнуть его в полном объёме.

Я начал читать с первого листа, и у меня появилось ощущение, что я переступил некую невидимую зыбкую грань, отделявшую один мир от другого. И шагнул в параллельный мир, в неизвестность. До сих пор я жил, как мне казалось, в единственном и огромном мире, но теперь мои представления рухнули, будто карточный домик, и мне выдалась возможность из реалий повседневности шагнуть в тот странный перевёрнутый с ног на голову мир, который простирается тут же, рядом. В Зазеркалье.

Пути назад не было, мосты к отступлению сожжены.

Ленинград, Россия композитору Борису Асафьеву от его друга, венского историка музыки профессора Гвидо Адлера. Вена, 19 мая 1928 года.²

Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!

Неделю назад получил Ваше письмо. Оно растревожило мою душу.

Что ж, придется идти до конца. Письмо заставило меня усомниться в верности некоторых моих взглядов, вновь задуматься над вопросом о сущности человеческой природы. Что отделяет каждого из нас как особь от окружающего мира? Разве не плоть? Или на протяжении долгих лет я как homo sapiens просто-напросто тешил себя иллюзией, что это так?

Мы отлично знакомы с Вами, дорогой Борис Владимирович.

В ту пору, помню, я получил от Вас три письма, в которых Вы настойчиво запрашивали у меня информацию о некоторых темных пятнах в жизнеописании Вольфганга Моцарта. Должен принести Вам свои извинения за то, что не ответил ни на одно из Ваших посланий. В ту пору я не смог выполнить Вашей просьбы.

Помните, когда вы были в Вене, во время одной из дружеских наших встреч речь зашла о трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», и вы спросили меня, действительно ли, по моему мнению, Сальери совершил злодейство, положенное в основу его пьесы? И я, ни минуты не колеблясь, ответил: «А кто же из старых венцев сомневается в этом?»

Хотя, на страже имени Сальери всегда стояли реакционные клерикальные круги. Разумеется, зная общепринятые правила получения нужной информации у церкви, я пошел традиционным путем. Сделал обстоятельный запрос о снятии копии с исповеди капельмейстера А. Сальери, находящейся в архиве храма НН. На это мне было заявлено, что исповедник Сальери не имеет права нарушить тайну исповеди, соблюдение которой является обязательным для каждого католического священника. Что ж, действительно, такое церковное установление есть, но... Ординариат (управление делами) архиепископства Венского в ответ на мою просьбу сообщить что-либо о местонахождении записи, заявил, что запись эта является «вздорной выдумкой и связывается с пушкинскими путевыми заметками (именно так была названа маленькая трагедия «Моцарт и Сальери»!) для того, чтобы доказать духовный приоритет русских...».

Вряд ли, чиновник, составлявший эту сердитую депешу, читал трагедию Пушкина. Тогда я, используя предлог об изучении церковной музыки и свои

² Б.В. Асафьев (1884–1949 гг) – русский советский композитор. Гвидо Адлер (1855–1941 гг) – венский историк музыки, судьба его архива и наследства автору неизвестны

связи, стал искать документ самостоятельно и нашел в одном венском архиве запись исповеди Сальери. Она принадлежала руке духовника итальянского маэстро, который в свою очередь ознакомил своего епископа в том, что Сальери отравил Моцарта. В этом документе содержались также детали того, где и при каких обстоятельствах под патронажем итальянского композитора давался Моцарту медленно действующий яд. Более того, я дотошно проверил все содержащиеся в записи исповеди фактические данные и пришел к заключению, что исповедь Сальери совсем не „горячечный бред умирающего», как пытались представить дело его сторонники. Вероятно, преступник выдал здесь столь долго охраняемую тайну. Как выяснилось позже, имелся в виду документ под § 886 этих установлений.

Правда, «печать молчания» может быть снята в том случае, если кающийся оказывался психически ненормальным. Сальери в последний, краткий период своей жизни был психически тяжело больным и помещён в психиатрическую клинику, в Вене это было хорошо известно. Как свидетельствуют записи посетителей оглохшего Бетховена, о разговорных тетрадях начиная с осени 1823 года, Сальери признался в том, что отравил Моцарта и, мучимый невыносимыми угрызениями совести, перерезал бритвой горло, пытаясь покончить с собой. Как Вы сами понимаете, такая строго конфиденциальная информация, не вполне безопасна для того, у кого она находится. Учтите этот немаловажный факт.

Приезжайте, друг мой Борис, и я Вам покажу фотокопию найденного документа, и вы тогда окончательно перестанете сомневаться в подлинности слухов, гуляющих уже более ста лет и связанных с гибелью великого композитора.

Если католическая церковь была втянута в «заговор», что не так уж невероятно, то, естественно, у неё не было резона для разглашения содержания этого документа. Кстати, весьма интересно то обстоятельство, что – по этой исповеди – Сальери выдаёт себя за преступника, хотя, наверняка, был он только подстрекателем, но это было характерно для его тогдашнего психического состояния.

К сожалению, я не имею права делиться этой запретной информацией с кем бы то ни было, даже с Вами, уважаемый Борис Владимирович. Поэтому подробности при личной встрече в Вене.

Возможно, причины моей сдержанности будут Вам, дорогой мой русский композитор, более чем известны и я об этом умолчу.

Вы, конечно же, знаете, что я человек самый заурядный, умеренных и даже старомодных взглядов на жизнь. Как добропорядочный гражданин Австрии, я чту и уважаю законы и порядок и считаю, что меня можно отнести к людям с уравновешенным характером и устойчивыми нравственными принципами. Всегда старался быть в меру патриотом и гражданином своей страны, хорошим мужем для своей жены – чудесной женщины редкой доброты и благородного происхождения. Тешу себя надеждой, что соответствую званию профессора, историка музыки и внес достойный вклад в науку.

И, по правде говоря, мне вовсе не хотелось бы, чтобы математически четкий ход моей жизни, которого я неукоснительно придерживался, мог быть нарушен некой грубой иррациональной силой, силой вероломной и вседозволенной, природа которой мне не вполне ясна. Но остановлюсь на этом подробнее...

В последние месяцы со мной происходит нечто не вполне логичное, скорее – иррациональное. Без видимой причины у меня появились некоторые признаки физиологического и психического расстройства после того, как я ознакомился с вышеназванной «исповедью Сальери». Сей факт до основания поколебал мою уверенность в том, что мои представления о природе сущего мира, об окружающей нас действительности соответствуют истине. Ещё более поразительным оказалось то, что мне нанес визит некто или человек в сером одеянии, как в случае с великим Моцартом. Сходство прямо-таки зеркальное.

Другое происшествие произошло три месяца назад, в поне-дельник вечером. Я задержался дольше обычного в университете: мне нужно было набросать тезисы статьи, которую я намеревался обязательно закончить, чтобы завтра передать её в редакцию. В какой-то момент я отвлекся от работы и неожиданно увидел перед собой довольно высокого мужчину в серых одеждах. У него был цепкий неприятный взгляд, поджатые узкие губы на вытянутом худощавом лице.

Неизвестный произнес сумбурную речь:

– Мы рекомендуем вам уничтожить записи, которые вы сделали в церковном архиве, касательно маэстро Сальери. Это знание следует забыть. Напрочь! Молчание, как известно, золото. Или будет гораздо хуже, – вы представляете, о чем я говорю?

– Вы, наверное, ошиблись аудиторией? – прервал я гостя, сочтя, что он заблудился в университете, разыскивая кого-нибудь из моих коллег, и случайно оказался в моём кабинете.

– Какие ещё ошибки? – усмехнулся гость. – Их просто нет в природе. Разумеется, за исключением тех, которые вольно или невольно делаете лично вы, герр профессор Гвидо Адлер.

Мне стало не по себе. Господин Асафьев, бывает, что я выхожу из себя, когда со мной играют в какие-то тайные игры. Не понравилось мне и то, что этот незнакомец с высокомерным взглядом обратился ко мне по имени-отчеству и при этом не потрудился назвать сторону, от лица которой он нанес визит, который и закончился престранным образом.

За окном послышался шум, я повернул голову, а когда взглянул туда, где стоял неизвестный, то обнаружил – гость в сером бесследно исчез. Фантастика какая-то!

Всякий раз, когда я вспоминаю этого зловещего посетителя, мне становится не по себе. Что это? Галлюцинации, плод моей больной психики?

Вскоре после этого визита мне стал являться в сновидениях сам Вольфганг Моцарт. У него был изможденный вид, лицо обострилось, нос и без того крупный вытянулся и стал, как у Сирано де Бержерака, а голова казалась неестественно большой на его тщедушном маленьком теле. Вместо чудесной пепельной шевелюры у него остались некие жалкие и жидкие пряди волос. Вольфганг походил на очень больного, замученного недугом человека. Выпученные глаза на исхудалом лице только усугубляли неприятное впечатление.

Этот двойник Моцарта из сновидений умолял меня сообщить громогласно какую-то правду. Что он имел в виду под этой правдой, которой он от меня требовал, мне неизвестно. Эта напасть стала повторяться каждую ночь. Сразу же после двенадцати ночи, призрак, уверяющий, что он и есть настоящий Вольфганг Моцарт, то запугивал меня, то умолял мне предпринять

срочные меры. Пытаясь осмыслить происходящее, я пришел к мнению: подальше спрятать фотокопию текста исповеди Сальери, а Вам сообщать регулярно о своих странностях и загадках.

Мне не по себе от мнимых угроз, которые могут стать ужасной реальностью. А потому я не буду отсылать Вам письма, а стану собирать их у себя, чтобы передавать при надёжной оказии или лучше во время нашей очередной встрече в Вене.

Дорогой друг, я стал сомневаться в нормальности своей психики. И чувствовал, что об этих сумасшедших ночах не следует говорить никому из коллег и даже своим родным и близким.

Минула ещё одна неделя, и я всерьёз занемог. Начались головные боли, ноги стали опухать – точь-в-точь как у Моцарта. Весь врачебный опыт моего домашнего доктора оказался бессильным, чтобы побороть мою странную болезнь.

Похоже, некая завладевшая мной сила пытается сломить моё сопротивление и заставить примириться с фактом существования призрака «Моцарт». Честное слово, мой организм сопротивляется этим наваждениям. Ну, если восстаёт плоть, то значит дух мой не сломлен. С нами Бог!

Всего Вам доброго!

Ваш Гвидо Адлер

Рукопись лежит передо мной, на письменном столе, я читаю эти странные слова: «Некая завладевшая мной сила пытается сломить моё сопротивление». А ведь и я попал под каток этой «зловещей силы». Со мной происходило нечто похожее во время и после посещения в предместье Берлина Веры Лурье, в аэропорту Шереметьево-2, когда ко мне прицепился субъект в сером, требуя рукописи, или тот, астматик на Ваганьковском кладбище, осведомленный о моей частной жизни и реально угрожавший мне смертью. ... Эти навязчивые *déjà vu* в сновидениях наяву, центральным персонажем которых был сам Вольфганг Моцарт и какие-то неотступные «нукеры» зловещего и таинственного «мандарина», добивавшихся сначала у Гвидо Адлера, Веры Лурье, а теперь и у меня прекратить дознания того, что, так или иначе, касалось тайны жизни и смерти великого композитора.

Странно до оторопи то, что во всех этих представлениях одни и те же действующие лица: субъекты, одетые во все серое с надменными цепкими взглядами, вещие сны с участием демонов композитора, загадочные смерти реальных лиц... Должно же быть осмысленное объяснение этим метаморфозам!

Ленинград, Россия,

Композитору Борису Асафьеву

От его друга, венского историка музыки профессора Гвидо Адлера, Вена,

16 июля 1928 года

Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!

Как я ни старался найти хоть долю смысла в цепи эпизодов, случившихся со мной, но ни на йоту не приблизился к решению. Напротив, мою персону стало всё больше и больше затягивать в водоворот мистики и чертовщины. Всё это демонстративно угрожало моей научной деятельности. Да что там карьера – над моей жизнью навис дамоклов меч. Скоро я сдался и подал прошение об отставке с кафедры университета.

Решил произвести революцию в своей судьбе. Ушел в самостоятельное плавание или, как говорится, «на вольные хлеба». Сейчас у меня масса

времени, чтобы заняться собой: восстановить «психику», «физику» и «моторику».

И вот в душевном равновесии моём наступил здоровый баланс.

Худо-бедно, но моя новая жизнь продолжалась до тех пор, пока я не получил на прошлой неделе Ваше письмо. Это разумеется чистое совпадение. Оказалось, что всё в моей жизни вернулось на круги своя и с той чертовщиной вроде бы покончено.

Хоть я и профессор, но не эскулап, а потому не могу взять в толк, что значит вся эта круговерть возле моей персоны? Дорогой герр, русский композитор, я продолжаю быть с Вами откровенным: если честно, то я и не желаю выяснять, что всё это значит? Начинаешь искренне верить в тайные силы, масонские заговоры, в теософию, наконец, тибетскую страну Шамбалу и прочее, прочее.

Я не имею права рисковать Вашей безопасностью, судьбою моих и Ваших близких. А потому обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой: прочитав это моё послание, уничтожьте его. По меньшей мере, ликвидируйте все то, что могло бы указывать на происхождение письма, его автора и фамилии единомышленников. Надеюсь, вы не оставите мою просьбу без внимания.

А теперь перейду к общей интересующей нас теме: я сделаю попытку связать воедино несколько эпизодов из жизни Моцарта и Сальери.

Дорогой друг, если бы Пушкин не запечатлел преступление Сальери в своей трагедии „Моцарт и Сальери», над которой он работал много лет, то загадка смерти величайшего композитора христианской цивилизации так и не получила бы разрешения.

Посмотрите-ка, какие тут совпадения. Рано умерший Александр Пушкин, был чуть старше Моцарта. В 1830 году русский поэт пишет маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», – ему тогда шел 31 год. Все «карпаниево» красноречие, употреблённое итальянским журналистом Дж. Карпани, которое он выплеснул в миланском журнале «Biblioteca Italiana» (сентябрь 1824 год) в пользу своего земляка Сальери, кажется, не произвело на вашего Пушкина особого впечатления, впрочем, как и свидетельство Гуммеля, в чьих набросках к биографии Моцарта (1825) можно найти следующие слова:

«Будто он (В. Моцарт) предавался мотовству, я (за малыми исключениями...) считаю неправдой; точно так же отбрасываю басню, что Моцарт был отравлен Сальери; если даже последний и имел претензии к гениальности первого, нанесшей вред в те времена итальянскому вкусу, то Сальери был все же слишком честным, реально мыслящим и всеми почитаемым человеком, чтобы его можно было заподозрить даже в самой малой степени...»

Ваш Александр Пушкин в своём творчестве сенсаций не любил. Именно ему в связи с уже названной трагедией принадлежат слова:

«Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудро и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальнойю».

События конца 1823 и начала 1824 годов, связанные с А. Сальери, не давали, видимо, Пушкину покоя. Это, прежде всего, неожиданно всплывшие в феврале 1824 года сообщения французских газет о том, что Моцарт был подло отравлен Сальери, которые и побудили поэта Пушкина взяться за перо.

Я даже ни на йоту не сомневаюсь, что ваш Александр Пушкин знал обо всём этом. Он был вхож в салон австрийского посла в Петербурге графа Людвиг Фиккельмона, с которым состоял в дружеских отношениях. Близость поэта к влиятельным кругам, давала возможность читать запрещённые царской цензурой книги и периодику, издававшиеся у нас в Европе. Через дипломатическую почту он имел доступ и к другим секретным документам, то есть он всегда был «*an courant de tout*» («быть в курсе» – *фр.*).

Сочинение русского Пушкина, погибшего на дуэли в 37 лет, нашло равноценного интерпретатора в лице вашего композитора Николая Римского-Корсакова, написавшего одноактную оперу по его трагедии. Она длится около 50 минут, монолог Сальери выдержан в Рембрандтовой светотени, звучат там и мелодии из опер Моцарта и отдельно фрагмент Реквиема. Воистину, редкий случай, когда знаменитый композитор устанавливает звучащий памятник своему духовному кумиру.

Всего Вам доброго!

Ваш Гвидо Адлер

Вена, Австрия,

Профессору герру Гвидо Адлеру,

От композитора Бориса Асафьева

Ленинград, Россия, 12 июня 1928 года

Мой венский друг, герр Гвидо!

Пишу из райского места под Ленинградом. Как был бы рад, если бы ты приехал ко мне, на дачу. ...Ну, да ладно. К делу, к делу. ...И, конечно же, всё про Пушкина, Моцарта и Сальери. Вы меня зажгли: в душе вспыхнули зарницы счастья, выкристаллизовалось чувство искренней благодарности.

Когда наш солнечный гений поэзии – Пушкин – коснулся неувыдаемой темы «Гений и злодейство», то всяческие Сальери, эти «маленькие великие люди» давно уж толпились на улицах Вены, Берлина, Лондона, Петербурга, и Пушкин встречал их не только мысленно – под окнами Моцарта, но и рядом с собой, въяве, в широкой России, и они все плотней окружали его, подвигая его к написанию «маленькой трагедии».

Такие как Сальери, в кабаки не ходят. Разве, что «пировать с гостем ненавистным» в трактире «Золотого Льва» с фортепиано и то лишь по делу: где он отравит Моцарта, успевая насладиться аккордами его «Реквиема».

Так и хочется сказать: любовь – вот душа гения! Это чувство сближает и роднит Моцарта с толпой – кабацкой ли публикой, только она движет мастера к внезапному, нечаянному увлечению. Отсюда всё: непосредственность – детскость, весело и легко противостоящая фальшивой искущённости в разных науках, и единство суверенитетов, и свобода равноправия...

«Тебе не до меня», – говорит Моцарт, потому что Сальери, не осененному божьей искрой гения не до этой многообразной, взаимосвязанной, естественной жизни, – тот мыслит другими категориями. Непомерное творческое тщеславие, нежелание уже творчески бесплодного Сальери терпеть возле себя мало-мальски талантливого композитора, а уж бога музыки – это уже подавно, толкало итальянца во все тяжкие. Только бы жёсткая

иерархическая его постройка венских подмостков осталась бы под его господством.

Всего Вам доброго, мой дорогой русский друг!

*Ленинград, Россия,
Композитору Борису Асафьеву
От профессора Гвидо Адлера,
Вена, 30 сентября 1928 года*

Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!

Мой друг, в связи с именем Сальери, возникшем в ходе нашей переписки, я даю вам следующую сенсацию: мой пражский друг и коллега НН, отыскал в архивах документ, связанный с попыткой самоубийства и признаниями Сальери.

Помог мне моравский ученый, профессор, прислав фотокопию письма Сальери с приложением партитуры своего Реквиема, которые датируются мартом 1821 года графу Генриху Вильгельму Гаугвицу, в замке которого (Намешть, это под Брно или по старому Брюнном) он не раз бывал. Привожу первый абзац этого письма:

*«Per Sua Eccellenza il Signor Conte H. de Haugwicz.
Eccellenza!
Vienna, marzo 1821*

Quando l'E. (Eccellenza) V. (Vosra) riceverà questa lettera, Dio avrà chiamato a se lo scrivente. Alia presente sarà unito l'originale del mio Requiem, secondo la mia promessa, del quale le faccio un dono, pregandola in contraccambio, che sia soltanto esequito nella de Lei privata capella in suffragio dell'anima mia. Aggiunto al mio Requiem mi fo un dovere di rispetto ordinando nel mio testamento che sia rimessa all'E. V. la scattola d'oro con di Lei assomigliantis-simo ritratto, che si è degnato una regalarmi, e che con immo piacere vivente, ho sempre conservato sotto gli occhi. Volendo poi V. E. per atto della di Lei innata generosità contraccambiare a cid con qualche piccola somma, sei degni farla avere al segretario della Societa delle vedove e pupilli della musica in Vienna».

Перевод фрагментов письма (Вера Лурье):

«Когда В(аше) П(ревосходительство) получит это письмо, Господь уже призовет к себе пишущего эти строки. К настоящему письму прилагается, в соответствии с моим обещанием, подлинник моего Реквиема, который я приношу в дар, прося лишь взамен, чтобы он был исполнен в Вашей частной капелле ради спасения моей души».

Резюме Лурье: Если предположить, что Сальери чувствовал себя настолько плохо, что мог думать о приближении смерти, то и тогда первая фраза письма поражает своей категоричностью, ибо даже опытному врачу бывает трудно исчислить дни, отделяющие больного от последнего рубежа его жизни, а ведь речь шла о немногих днях, ибо от Вены до Намешти (под Брюнном или Брно) чуть более ста километров! О душевном помрачении не может быть и речи. В те годы Сальери сам ещё был плодовитым композитором и педагогом: в 1822 году у него учился Лист!

Случайно ли Сальери начал письмо фразой, типичной для писем многих самоубийц: «Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых»? Но почему все же Сальери остался жив? Быть может, имевшаяся в его распоряжении доза яда была недостаточной и не привела к желаемому результату? Тогда понятно, почему в 1823 году понадобилась бритва. Во всяком случае, мы теперь знаем, что уже в 1821 году Сальери собирался расстаться с жизнью и просил отслужить по нему заупокойную мессу не в городе, где он провел полвека, а в частной капелле графа.

Разумеется, в письме этом нет прямого указания на то, какими грехами была отягощена совесть Сальери. Однако трудно сомневаться в том, что у него возникла мысль о самоубийстве. И, судя по изысканному стилю, ни о каком психическом заболевании Сальери и речи быть не может. А если же предположить, что и Реквием он писал «для себя» (приведенное начало его письма даёт полное основание для такого предположения), то придется замысел самоубийства отодвинуть на ещё более раннее время. А, как мы уже говорили, почти все документальные источники связывают попытку самоубийства Сальери с его признаниями в убийстве Моцарта. Не с мыслями ли о событиях 1791 года писал Сальери свой Реквием и прощался с жизнью тридцать лет спустя, в марте 1821 года?

Дорогой русский друг!

У меня есть ещё чем похвалиться. Пусть анонимное и незаконченное – такое возражение нашлось в наследии сына Моцарта Карла Томаса, который до конца жизни прожил в Милане и статью Карпани, в которой тот защищал Сальери, он конечно, знал. Родившись в Вене в 1784 году, после смерти отца Карл Томас жил сначала в Праге у хорошего знакомого семьи профессора Немечка, но по настоянию матери вынужден был заняться торговым делом, не закончив учебы в гимназии. Не удовлетворившись этим занятием, в 1805 году он перебрался в Милан, учился вначале музыке, но через три года бросил её и стал чиновником австрийского правительства. После отказа от музыкальной карьеры Карл Томас вёл скромное существование и всеми силами служил славе своего отца. Был он невысоким, хрупким на вид человеком с чёрными глазами и волосами пепельного цвета, кроме того, прост и крайне скромнен в обращении. Вместе с братом в сентябре 1842 года он стал свидетелем открытия памятника отцу в Зальцбурге, в 1850 году ушел в отставку, пережил всю семью и умер холостяком в Милане 31 октября (в день именин отца) 1858 года в возрасте 74 лет.

Но поначалу Вам приведу отрывок «Карпаниевой защиты», а это около 5 печатных листов. Датировано 10 августа 1824 года, Вена; появилась в сентябре 1824 года в миланском ежемесячнике «Biblioteca Italiana». Вот отрывок из 12 абзаца этого пустого и на редкость многословного объяснения:

«Человечный, прямодушный, порядочнейший и чистосердечный Сальери убийца! – более того, убийца Моцарта! – O tempora, o mores! Молчите, злодеи!.. Ответьте только, откуда вам стало известно о столь ужасном злодеянии. Наверное, от самого оклеветанного, от страждущего Сальери, в минуту отрешенности от мира сего открывшегося в своей вине?.. Скажите хотя бы, кому безумец мог нести сей бред! Как же, чего мы не знаем, да и не желаем знать. Сказано им – и баста... Что из того, что история лжива, зато складно выдумана... Возникнув однажды в узком кругу, она

громоподобным эхом отзывается в более широком – и для черни преступление состряпано: Сальери отравил Моцарта... Среди немногих сих защитников-маэстро Зигмунд Нойком, близкий друг Моцарта, свидетель его смерти...»

Теперь мой друг, я предлагаю Вам ниже приведённый ниже документ, объёмом в три с половиной рукописных страницы, написанный по-итальянски; он начинается без вступления и так же внезапно обрывается. Многочисленные зачеркивания и исправления дают основания полагать, что автор только набрасывал свои мысли. Незаконченная рукопись принадлежала сыну Моцарта Карлу Томасу. Вполне возможно, он предполагал даль-нейшую обработку текста, которая сделана все же не была. Владелец оригинала неизвестен, а копией располагает венский Интернациональный архив писем музыкантов (IMBA). Текст гласил:

«Я прочитал письмо, переданное господином аббатом Карпани в «Biblioteca Italiana», дабы защитить Сальери от обвинений в отравлении. Я согласен со всем изложенным в первой части защиты оногo, сие касается склонности людей к вере во все уязвляющие, удивительные и таинственные известия. Впрочем, мне кажется неуместным используемый господином Карпани искусственный прием; дабы склонить итальянцев на свою сторону, он говорит о том, что желает защитить честь нации, коей, разумеется, не может быть нанесен урон неблагоприятным поступком одного-единственного человека. Но ещё менее я склонен согласиться со второй частью его защиты, где он, собственно, касается непосредственно темы. Вспомнить только многоречивую и совершенно неподобающую случаю дискуссию, которая единственно и полностью завязана для того лишь, дабы найти случай использовать острые выражения, на кои он вообще весьма щедр, когда дело касается Моцарта, и кои – хотя прямо об этом не сказано – все же показывают, сколь отличен его вышеупомянутый приговор Моцарту от мнения подавляющего большинства. Нет смысла следовать его утверждениям, поскольку здесь они вовсе ни при чём. Первым делом следовало бы установить, была ли его болезнь нераспознанной желчной лихорадкой, которую доктор сразу признал безнадежной (опасность он разглядел лишь в последний момент).

Очень существенно, на мой взгляд, столь сильное опухание всего тела (*una gonfezza generale*), начавшееся за несколько дней перед смертью; отчего больной едва мог двигаться, ещё – зловонный запах, свидетельствующий о внутреннем разложении организма, и резкое усиление оногo сразу после наступления смерти, что сделало невозможным вскрытие тела. Второе характерное обстоятельство заключается в том, что труп не заоченел и не стал холодным, а, как это было в случае папы Ганганелли (Климент XIV, – прим. авт.) и тех, кто умер от растительного яда, остался во всех частях мягким и эластичным. Пусть маэстро Сальери невиновен в смерти Моцарта, чего я желаю и во что верю. Так насильственно ли была оборвана жизнь Моцарта и можно ли преступление сие приписать Сальери? Относительно этой второй части я хотел бы присоединиться к многочисленным свидетелям, сумевшим оценить личные качества маэстро Сальери, и потому считаю, что он невиновен, но хотел бы подчеркнуть, что подвигнут на это не благодаря статье Карпани. Не могу признать справедливым свидетельство господина Нойкома, поскольку в это время он пребывал в детском возрасте, а вкупе с этим оспариваю утверждение, будто он присутствовал при кончине Моцарта. В семью Моцартов он был введен лишь 9 лет спустя, когда его выбрали

воспитывать младшего сына маэстро. Но ежели признать сообщение Зигмунда Нойкома достоверным, то, как тогда согласовать слова Карпани с помещенным З. Нойкомом во французских газетах объявлением? У него выходит, что больной Сальери – пусть помешанный – признает себя причастным к смерти Моцарта, тогда как Карпани изо всех сил тщится отрицать это обстоятельство, призывая в свидетели двух санитаров, ухаживающих за Сальери.

Совершенно лживы приведенные Карпани обстоятельства, которые будто бы сопровождали смерть Моцарта. Бездоказательно и ложно, что Моцарт умер оттого, что пришел конец отмеренного ему срока жизни. Или смерть его всё-таки сопровождалась насилием? Вот тут-то и начинаются тяжкие сомнения. Впрочем, нельзя забывать о том, о чем в последние месяцы жизни догадывался сам Моцарт, – о подозрении, возникшем у него вследствие странного проявления внутреннего разлада, ощущаемого им, и связанного с таинственным заказом Реквиема, – впрочем, это все вещи настолько известные, что мне нет надобности продолжать дальше...»

Сразу бросается в глаза, что автор этих строк обладал самой точной информацией. Скрытая антипатия Карпани к Моцарту, читаемая между строк, тоже не ускользнула от его внимания. Автор в курсе и всех противоречий, в которых, с одной стороны, запутался как Карпани, так, с другой, и Зигмунд фон Нойком – музыкальный наставник брата Франца Ксавера Моцарта. Для врача же особенно ценными представляются сведения о клинической картине последней болезни Моцарта: вначале автор упоминает колики в животе, что позволяет сделать предположение о поражении желчного пузыря, далее он отмечает то ненормальное опухание тела, из-за которого стало невозможно его вскрытие. Воспалительные процессы в области рта и слизистой оболочки кишечника могли стать причиной транспирации тела, которые свидетельствуют о «внутреннем разложении».

Правда, описанные изменения трупя относятся к области фантазий: в поддержку ещё в античности выдвинутого ошибочного положения, будто растительные яды не вызывают окоченения трупа, привлекается даже смерть папы Климента XIV, в миру Ганганелли, известного тем, что в 1773 году им был ликвидирован орден иезуитов. «Мягким и эластичным» тело Моцарта осталось из-за скопления воды в тканях, из-за отека, характерного для финального отказа почек. В известном смысле Карл Томас, кажется, верил в неестественную смерть отца. В целом этот так называемый «Анти-Карпани» много короче и содержательнее «Карпаниевой защиты Сальери». Но без чтения статьи Карпани многие возражения тут были бы непонятны. По природе несколько склонный к флегме, Карл Томас Моцарт свой ответ более четверти века держит в ящике стола, но и не расстаётся с ним. Как говорится, «*Nabent sua fata documenta!*» («У рукописей своя судьба» – лат.). Может, публикацию остановила смерть Карпани и Сальери, и он решил, что долгий спор, всерьез захвативший даже газеты, на этом закончен. Но наступившее затишье было обманчивым.

Сомнительная во всех отношениях защита Карпани имела не только прелюдию. Вскоре последовало и продолжение: рано умерший Александр Пушкин, чуть старше Моцарта в свои 37 лет, в 1830 году пишет маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», о которой я Вам писал ранее. Всё карпаниево красноречие, употреблённое им в пользу Сальери, кажется, не произвело на него особого впечатления.

Дорогой друг, мне попался ещё один престранный документ, из которого следует: да подлинна ли и сама дата смерти? Имеется отзыв-аттестат, сделанный императорским и королевским придворным агентом Э. Донатом о музыканте Э. А. Форстере, домогавшемся у императора вакантного места «камер-композитора». Аттестат подписан: «Вена декабря 3 года 791», и в нём такие слова: «...почивший великий маэстро Моцарт ему...» Так что же, судя по этому документу, Моцарт скончался совсем в другой день!

Да, мой друг! Хотелось бы посудачить о вопросах, которые вне политики. С молодых ногтей я, господин композитор, выпитал любовь и уважение к порядку. У нас же только отгремела война, наступило более-менее стабильное время. Ан нет! Похоже, времена смуты опять забрезжили на горизонте, а как тогда нелегко простому народу. Как только в стране наступает смутное время, брожение изнутри идет полным ходом: начинается бесконечная болтовня о революционных преобразованиях, о свободе, равенстве и братстве. Но скажите, о каком братстве может идти речь, когда на улицах то митингуют, то маршируют, а в итоге с лица земли стирается все, что имеет отношение к истинной культуре и подлинной красоте.

Уважаемый герр Борис Асафьев! Подтверждаю, как на духу, что, доверяя бумаге документы и письма, связанные с великим композитором В. Моцартом, я говорил правду и только правду. Повторюсь: я надеюсь, приведенные мною факты окажутся полезными для Вашей работы и для России – родине знаменитого А. Пушкина.

При этом позволю настоятельно попросить Вас вот о чём. Во-первых, по получении моих депеш, постарайтесь уничтожить мои письма сразу после того, как изучите их. И ради Бога, ни при каких обстоятельствах не передавайте их содержание третьему лицу. Поскольку, чем глубже я занимаюсь нашей с Вами обоюдной темой, тем более таинственные явления преследуют меня: тут и загадочные люди с угрозами и наставлениями, а также неожиданные физические явления – пожары, отравления едой, травматические случаи на ровном месте.

Правда, уже с месяц они меня не беспокоят. Да поможет мне Бог – я надеюсь на то, что, когда закончу это письмо, они окончательно оставят меня в покое. Вторая просьба. Полагаю, Вы понимаете, что я делаю и впредь намерен делать все, что в человеческих силах, дабы обеспечить безопасность Вам, мне и моим близким и родным людям. Поэтому прошу Вас, как глубоко порядочного человека, дать мне слово, что Вы никогда не предпримете попытки вновь связаться со мной. Сдержите слово, ради всего святого! И да будет так и только так, что бы ни случилось.

И ещё об одном, герр композитор Асафьев. Поначалу, работая над депешей к Вам, я не собирался упоминать о некоторых моментах жизни, происшедших со мной. Есть вещи, о которых не хочется вспоминать. Однако, в интересах науки, а также испытывая определенное, если так можно выразиться, сострадание к Вам, взвалившему на свои плечи столь тяжелую ношу, опишу очень коротко один случай. Как раз в самый разгар хворей, вдруг поразившей мою плоть, мне довелось остановиться на ночь в загородном особняке родственников жены.

После череды совершенно невероятных событий, случившихся в ту ночь, я оказался у себя на втором этаже один-одинёшенек. Ещё вечером, помнится, на меня напала сильная мигрень, а в ушах случился беспричинный звон,

сопровождавшийся той же самой симптоматикой, которая была и у вас, когда Вы приезжали в Вену. Испугавшись, что самым натуральным образом схожу с ума, я приготовил себе снотворное и выпил его перед тем, как отправиться в постель.

Мне удалось уснуть. Снились мне роскошно-музыкальные сны: незримый оркестр исполнял волшебную музыку Моцарта, а я силился открыть глаза, чтобы рассмотреть музыкантов. Но ничего не мог поделать...

Обессиленный, я проснулся задолго до рассвета, совершенно мокрый от пота, и, оставив всякую надежду снова задремать, встал и пошел к умывальнику, вознамерившись побриться. Уселся я напротив зеркала и зажженных свечей, стал срезать щетину бритвой. И о Боже! К своему ужасу, я обнаружил, что лицо в зеркале – не моё отражение и мне не принадлежит. Это был Вольфганг Амадей. Правда, такого Моцарта я никогда не видел по известным портретам.

В первое мгновение, когда я увидел образ Моцарта, сердце моё укатилось в пятки. Правда, я тут же вскочил со стула, махнул рукой и перевернул туалетный столик с умывальником. Зеркало разбилось на мелкие осколки.

И хотя наваждение улетучилось, я все следующие часы пролежал в постели. До той поры, когда изумительный по красоте рассвет проник через окно и озарил мою комнату.

Вот и все, что я могу Вам поведать. Иного я не знаю. В заключение повторю, что меня взволновал и продолжает волновать Ваш рассказ о той странной атмосфере, в которой Вы, герр русский композитор Асафьев, оказались, и о тех событиях, что коснулись Вас. По воле рока нечто похожее случилось и со мной и происходит вот уже в течение нескольких месяцев. Молю Бога, чтобы он помог Вам найти объяснение странным явлениям, вторгшимся в Вашу и мою жизнь, но более всего желаю Вам обрести покой.

Желаю успехов в сочинении новой оперы. Надеюсь на то, что Вы, когда справитесь с этой задачей, избавитесь от всех треволнений, что Вас посещают.

Остаюсь Вашим покорным слугой

Профессор Гвидо Адлер

Прочитав это письмо, я откровенно рассмеялся: представил себе, как воспринял бы старина Гвидо Адлер нынешний нашпигованную бомбистами и наркодельцами Москву, где беременных женщин насилуют прямо на обочинах скоростных магистралей, у бедных старушек грабители отнимают пенсии или лишают жизни ради их квартир. Гвидо Адлеру и в голову не приходило, что в его время, по крайней мере ещё 10 лет можно было жить припеваючи. До тех пор Германия являла собой Рим эпохи упадка: культура была ключом, наука и техника расцветала в преддверии открытий и изобретений... Действительно, в каком же уютном веке жил Гвидо Адлер, да и его русский друг, композитор Борис Асафьев!..

Cui bono³

*«We are such stuff as dreams are made on, and our
little life is rounded with a sleep»*

*(Мы созданы из вещества того же, что наши сны.
И сном окружена вся наша маленькая жизнь.)*

В. Шекспир «Буря»

Я закончил чтение рукописи, отложил её в сторону и ощутил какое-то удовлетворение. Целая подборка писем профессора музыки Гвидо Адлера, русского композитора Бориса Асафьева – это был существенный прорыв в тему о Моцарте! Впрочем, как бы я ни окрестил сей эпистолярный, доставшийся мне от Веры Лурье, – все это, надо признаться, задело меня за живое. Безусловно, информация в письмах, как и подстрочный смысл представленных, депеш заслуживает самого пристального внимания. Привлекли к себе совпадения событий у Гвидо Адлера, и теми, что пережил лично я после того, как баронесса Вера Лурье вручила мне в руки достопамятный пакет. Я с открытым ртом вчитывался в схожие с моими симптомами недуги, яркие эпизоды из снов, преследующих меня, навязчивые образы людей в сером; их традиционные угрозы. Какой-то неведомый смысл мне нужно было извлечь из текста писем, выработать свои правила игры, а главное правильно среагировать на выпады тайных сил. Но я не догадывался о скрытых пружинах всей интриги, а потому блуждал, как слепой котенок, не ведая, что извлекать и как реагировать.

Судьба уготовила мне не просто роль и место в необычной жизненной ситуации. Меня угораздило попасть в неведомый доселе зазеркальный мир, в существование которого до сей поры я не верил, и совершенно не ориентировался в этом мире, не знал его законов и правил. В иные времена, когда я попадал в ситуации под названием «экстрим», то мои друзья по журналистике или писательскому ремеслу давали мне массу всякой литературы, советовали, как поступить в ситуации «Х». Помнится, что только мы не вытворяли, обговаривая концепции поведения в тупиковых делах – в редакциях журналов, на улице, в кафешках или специальных клубах – типа ЦДЛ. Но все это происходило в реальной российской действительности с прогнозируемыми ситуациями.

Нынче же со мной случился полный обвал: к игре без правил да ещё на стыке с параллельными мирами – к этому я оказался не готов.

Очень убедительно обозначил Фридрих Ницше такой феномен: если долго смотреть в пропасть, то наступает момент, когда бездна начинает внимательно приглядываться уже к тебе.

Григорий Климов – первый, кто обобщил для меня разрозненные факты оккультных учений, эзотерических знаний и замешал все это в дрожжевое тесто с историческими персонажами. Пицца получилась с пылу с жару! Для многих профанов и непосвящённых открылась стройная картина мондиалистского мира с его грозным арсеналом «оружия» потусторонних сил, с его зинданами и нукерами – бойцами, число которых легион.

Имена Гвидо Адлера, Готфрида Ван Свитена, Игнациуса фон Борна, Иеронима Коллоредо, Алозии Ланге, Зофи Хайбль и других ничего не говорили мне.

Правда, о тайных знаниях мне было уже известна. Так же, как и о высокомерии посвящённых и избранных с их тщательно охраняемыми тайнами. Я не имел членского билета в этот «клуб олимпийских богов», но был в достаточной близости с «королевскими» персоналиями.

³ Кому выгодно (лат.)

И знал достаточно, чтобы сориентироваться во времени и пространстве и не натворить несуразностей или ошибок «роста».

Что же касается Моцарта, то о нём прежде я не знал фактически ничего. Разве только то, что он создавал потрясающую музыку – помнится, я слушал её, затаив дыхание. Ну и то, что композитор был отравлен завистником Сальери – в пушкинском «Моцарте и Сальери» об этом так сказано, что лучше и не придумать.

Во мне поднялась мертвая зыбь тихой ярости. Я пытался переубедить себя: довольно с меня тайн и всякой чертовщины. Слишком сильно разыгралось воображение, слишком далеко я зашел: по ночам, во снах и наяву, мне уже слышится божественная музыка Моцарта. Более того, какие-то голливудские монстры или их приспешники в серых одеждах учиняют мне допросы с пристрастием.

А весь этот сыр-бор разгорелся из-за того, что одна старая дама из Германии всучила мне пакет с рукописью и объявила: дескать, на меня ложится серьёзная миссия.

Я встал из-за стола. Занималось утро, в комнату уже просачивался солнечный свет. Меня потянуло прочь из дома: на улицу, на работу – всё равно куда, только бы подальше от всей этой чертовщины.

Однако идти было некуда. Да и рукопись завораживала, притягивала, как магнит. Насколько то, что излагал в своих депешах Гвидо Адлер, соответствует действительности? И можно ли быть уверенным в подлинности его писем? Что, если весь эпистолярый является фальшивкой, мистификацией?..

И тут я сообразил, что мне выпадает отличный шанс недурно заработать на переписке венского профессора музыки Гвидо Адлера и русского композитора Бориса Асафьева. Из такого материала, несомненно, можно кое-что выжать и опубликовать не только в мюнхенском «Фокусе», гамбургском «Шпигеле» или московском «Вокруг Света», а взять и отослать в зальцбургский «Моцартеум».

Но тут же подумалось: чёрт возьми, ведь я естествоиспытатель, ученый – почти Шерлок Холмс! Моя специальность в том и состоит, чтобы, сопоставляя давно известное – классику и новую фактуру – с цифрами и фактами, сделать выводы. А затем строго, по научному точно спрогнозировать события и явления будущего. Мне представилась чудесная возможность проявить на практике свои знания, навыки, профессионализм исследователя.

По мою душу выпало две, а то и три недели отпуска. Мне ли их не использовать для дела! Я решил, что потрачу не три, а шесть недель или месяцев – столько, сколько потребуется. За такое время можно будет досконально изучить биографию Моцарта, а там как знать: выпустить сенсационную книгу.

...Вообще-то я никогда не стремился к одиночеству, а был душой компаний, вечеринок, застолий. Но что-то произошло – со мной ли, окружающим миром, и я превратился в отшельника, ведя жизнь классического затворника. На протяжении десяти суток кряду я день и ночь занимался тем, что читал, делал выписки из книг, принесенные из библиотек, и слушал неземную музыку Моцарта. Каждую клетку мозга да и всего организма я старался насытить информацией, имя которой было Моцарт: зрительной, звуковой, ассоциативной. Спал урывками, когда сон сваливал с ног; просыпался рано утром, выпивал большую чашку крепкого индийского чая и усаживался за работу: читал о Моцарте всё, что удалось взять в библиотеке легально, черпал информацию горстями и ведрами из Интернета.

Первые время я отлучался из своей квартиры лишь тогда, когда требовалось купить что-нибудь из еды, взять новую книгу из «Ленинки», или навестить моего лечащего врача на Большой Грузинской улице, чтобы тот ещё раз продлил больничный лист. Недуг, которым я прикрывался, был немудрен: гипертония, или высокое артериальное давление.

Эти изыскания забрали меня в свой пленительный рай без остатка. Слава Богу, я имел опыт научной работы в сибирском Академгородке, моя исследовательская работа включала в

себя все вместе: потуги изобретателя-конструктора, когда из подручного «хлама» я собирал действующую установку, а также – ученого экспериментатора, ставящего опыты и специалиста-аналитика, подводящего теоретическую базу с формулами, графиками и «картинками». Опыт младшего научного сотрудника, приобретённый в далёком научном центре, пригодилась как нельзя кстати. Надо было только окружить себя тишиной и тайной.

Для себя я открыл, что на момент смерти Моцарта о нём накопилась масса документального материала и беллетристики: рукописные партитуры как опубликованных, так и не опубликованных при жизни композитора произведений. Были обнаружены также бумаги, которые Вольфганг тщательно схоронил от чьих-либо взглядов. Тогда композитор был уверен, что человек должен изо всех сил противостоять внутренним побуждениям, и что для него, Моцарта, искусство есть единственное средство борьбы с отчаянием, печалью и пошлостью.

В ходе работы с источниками, я установил, что действительно в Вене жил и работал известный венский историк музыки профессор Гвидо Адлер, которого знали все тамошние столичные подмошки. Баронесса Вера Лурье перевела с немецкого именно его послания к русскому композитору Борису Асафьеву, с которым он много раз встречался в Вене, а тема Моцарт и Сальери была у них лейтмотивной. Гвидо Адлер жил и умер в Вене в 1941 году. Ничего об его архиве нам неизвестно, причем, все самое ценное – документы, дневники и прочие бумаги – все кануло в небытие.

Я поспешил познакомиться с книгой, написанной профессором Гвидо Адлером. Факты, почерпнутые из нее, ни в коей мере не противоречили тому, что были изложены в тексте его депеш, полученных от Веры Лурье. Однако личностное начало Гвидо Адлера в книге было выражено не столь ярко, как в его письмах к Борису Асафьеву. Но это и вполне естественно: письма они и есть письма, – им много доверят.

Я просеял через себя целый Монблан научной и другой литературы о Моцарте: его многочисленные биографии, а также документы и художественные произведения о композиторе. Казалось бы, я должен был приблизиться к постижению сути – кем был настоящий Вольфганг Амадей Моцарт? Но вместо этого я уходил от истины куда-то в сторону, все глубже погружаясь в иллюзорный мир версий, миражей или откровенной лжи. У меня возникло чувство, будто я оказался на подмостках театра абсурда, где вершится колдовское действие искусства, но с обратным знаком: труппа и технический персонал делает всё, чтобы пьесу автора показать в кривом зеркале.

В своём изыскательском марафоне я вдруг смутно осознал, что со мной что-то творится: изменился мой внутренний мир; я похудел, спал урывками, как дикий зверь, занятый постоянными поисками пропитания. Голову то и дело мучили мигрени, меня утомила тахикардия – сердце стучало так, будто хотело вырваться из грудной клетки и улететь; зрение ухудшилось. Врач дал мне препараты – всего две таблетки, которые надо было пить раз в сутки. И тут я совсем сдал: слабость стала донимать меня: не помогали ни кофе, ни чай, ни тем более – спиртное. Было такое чувство, словно мне дали яду. Однажды, я чуть было не завалился в магазине: у кассы закружилась голова, и меня повело в сторону; я с трудом удержался.

Но я решил презреть эти жизненные «рифмы» и довести дело до конца. На исходе месяца я приступил к систематизации и упорядочению данных, коих накопилось в достатке, и засел за компьютер.

Моё первоначальное исследование, переросло в своего рода болезнь, в навязчивую идею. Чем больше я читал, тем меньше что-либо иное, кроме моих изысканий, значило для меня. Я постепенно утрачивал интерес к еде, совсем перестал смотреть телевизор, слушать радио, читать газеты. Почтальон регулярно забрасывал мне в почтовый ящик письма, квитанции, газеты. Я просматривал их наскоро – по диагонали; меня волновало только одно: нет ли депеши с почтовым штемпелем Берлина? Если нет, то письма летели нераспечатанными в ящик

стола, где и валялись до лучших времен. На телефонные звонки я не отвечал, и они прекратились.

Единственный, с кем я поддерживал отношения, был Анатолий Мышев. Периодически я поднимался по лестнице, звонил к нему и осведомлялся, как продвигается перевод моих бумаг. Поначалу Анатолий Мышев советовал не беспокоиться, заверяя меня, что все идет своим чередом. Но скоро он начал проявлять признаки раздражения, и я счел за благо оставить человека в покое и просто дождаться итогов.

Я без конца перечитывал послания профессора по истории музыки Гвидо Адлера к композитору Борису Асафьеву и письма последнего. Что-то в эпистолярном жанре этих знаменательных фигур было такое, что пленяло и завораживало меня без остатка.

Мало помалу, я стал улавливать некую суть, скрытую в тексте рукописного багажа, но осмыслить значимость документов, увы, было для меня сложноватой задачей. Я, как технарь, погружался в иное измерение, в сферы искусства со своими правилами, акцентами, подтекстом. Наверное, поэтому всё открывающееся передо мной и отнюдь не иллюзорное, подчиняло меня себе и вело в те пространства – более реальные, а самое главное обворожительные, нежели сегодняшний мир.

Иногда я просыпался среди ночи от слов баронессы Веры Лурье, которые эхом звучали в моей голове:

«Это не презент, мой дорогой, а если и презент, то не в обычном смысле слова... Отныне на вас ложится серьезная, возможно, даже опасная для жизни миссия».

Как-то исподволь я занялся и творчеством баронессы Веры Лурье. В «Ленинке» я нашел её стихи. Поэтесса Вера Лурье мне понравилась, в тонюсенькой книжице было все: от шестистопного ямба, верлибра и имажинистов до традиционной русской поэзии. Особенно мне запомнился её перевод «Реквиема» Карла Иммермана, 1818 год:

Амадей в каморке одиноко,
Погрузившись в глубь себя, сидит.
Лунный луч заглядывает в окна,
Ветер холодно листвою шелестит.
Немо все кругом.
В горле сладкий ком —
Грудь стеснила вдруг тупая боль.
Мягко кто-то сзади прикоснулся,
То ему явился поздний гость.
«Кто ты? – тихо Моцарт содрогнулся,
Как тебе войти в дом удалось?»
«Если ангел в дверь
Постучит, поверь -
Перед ним любая распахнется.
Я на службе высочайшей силы,
И тебе известно все о ней.
Твое имя также всем там мило,
Но послушай, слушай же скорей:
Погребальный гимн —
Вот что нужно им,
Реквием ты должен сочинить.

В книге Вера Сергеевна не только напечатала перевод стихов, но и рассказывала о своей всепоглощающей страсти к Моцарту. Эта страсть вспыхнула с новой силой, когда девушка

покинула непривычный для неё мир постреволюционной России и отправилась навсегда в Европу. Это было и паломничество духа. Она окунулась в море политических и социальных бурь, бушевавших в Германии.

Русская дворянка, представительница высшего света, дочь крупного российского чиновника, Вера Сергеевна Лурье, родившись в 1902 году, была и оставалась ровесницей века. И какого бурного, противоречивого, насыщенного историческими событиями века! В таком веке, пожалуй, легко затеряться хрупкой девушке Вере Лурье, даже если она незаурядный человек, а ещё проще – отстать от духа времени. И то и другое случалось неисчислимое количество раз. Но к Вере Лурье это не относится. Увлечшись до самозабвения музыкой Моцарта и заинтересовавшись его биографией, она решила создать композицию. И пришла на «Фабрику эксцентричного актера» или ФЭКС, чтобы дать исполнение произведений Моцарта для широкой публики в оригинальной форме. Там как раз начинали свою творческую карьеру киты советской кинематографии – Григорий Козинцев и Сергей Юткевич. Они и помогли юной Лурье создать нечто – своеобразную «Моцартиану».

В девятнадцатилетнем возрасте Вера Лурье окунулась в вавилонскую атмосферу Берлина, нырнула с головой в русско-эмигрантскую среду. Побывав в Зальцбурге, Вене, заболела неизлечимым недугом под названием «Моцарт» и более не расставалась с ним на всю оставшуюся жизнь. Накануне войны Вера Лурье сошлась накоротко с известным генетиком из СССР Николаем Тимофеевым-Ресовским и его семьей. Потом был германский нацизм, с которым она вела посильную борьбу. Перед крахом Германии, Лурье встретила с казачьим офицером Александром Ивойловым, чья статья и удаль заморозили её настолько, что буквально через сутки они чуть было не обвенчались, но обстоятельства оказались сильнее их желания.

Она перемогла войну, невзгоды, разделение Германии и дожила до развала СССР, когда русские потоками нагрянули в европейские страны.

Вернувшись после крушения нацизма в предместье Вильмерсдорф под Берлином, Вера Лурье решила приступить к своей многолетней мечте – создать биографию Вольфганга Моцарта. Позже я узнал, что она написала два варианта биографии: один развёрнутый, другой – его краткое изложение. Ни одна из этих двух работ не была опубликована. К своему удивлению, в автобиографической книге Лурье я не обнаружил ни ссылок на тексты рукописей, теперь находившихся в моём распоряжении, ни даже намёка на их существование. Поэтому я задался вопросом: как эти рукописи попали в руки Лурье. Я не знал, что и думать. Судя по пергаменту, в который была завернута рукопись, можно было предположить, что она в течение многих лет хранилась где-то в подвалах Европы. Мне пришла в голову мысль: возможно, русская эмиграция первой волны несла в страны Запада не только культуру Российской империи, но и поднимала «культурные» волны в Германии, Австрии, Франции. Русское офицерство заработало в новом качестве: носителей или курьеров истории, философских знаний, искусства и культуры.

Как тут было остаться в стороне и не последовать совету австрийского драматурга позапрошлого века Франца Грильпарцера, который утверждал, что нельзя понять великих, не изучив темных личностей с ними рядом. Эти размышления навели меня на то, чтобы собрать как можно больше сведений не только о самом композиторе, но и в его окружении, над которым неотвязно реял образ Моцарта. Разгадка тайны – в тех, кто был рядом с маэстро – любил его, дружил или ненавидел композитора. Тут ценно все, а не только те, кто был болен музыкой Моцарта или им самим. Тогда главная задача – по научному вьедливо разобраться с фактами жизни и смерти великого композитора – будет успешно выполнена.

Итак, приступим к нашему расследованию...

В поисках информации пришлось предпринимать частые вылазки из своего прибежища-квартиры. Я активно стал сновать по городу, рискуя «засветиться», то есть нарваться на знакомых или коллег. Том за томом «прочёсывая» покрытые пылью полки «Ленинки» –

библиотеки имени Ленина, часами просиживая в душевных читальных залах Иностранной библиотеки, в Центральном архиве культуры и искусства РФ, по крупинкам выбирая сведения о Моцарте. И пришел к выводу, что машина мифотворчества и лжи была запущена и успешно работала ещё при жизни Моцарта, искажая правду о композиторе до неузнаваемости.

Двести лет, прошедших со дня гибели Моцарта, принесли немало искажений его облика как человека, мыслителя и «бога музыки». Но наряду с умышленными или невежественными высказываниями появились, бесспорно, ценные работы как русских исследователей – начиная от русского первопроходца А. Д. Улыбышева, приступившего к созданию своего труда о Моцарте той же благословенной болдинской осенью 1830 года, которая подарила человечеству пушкинскую трагедию, до наших современников Г. В. Чичерина, проф. Т. Н. Ливановой, убедительно показавшей в своей книге «Моцарт и русская музыкальная культура» глубокие и давние связи нашей музыки с творчеством величайшего композитора Запада, – так и классиков европейского моцартоведения – Отто Яна, Германа Аберта, Теодора де Визева и его ученика и соавтора графа Жоржа де Сен-Фуа.

Интересные выводы о Моцарте были сделаны представителями культуры и науки в наши дни.

В мае 1983 года Фрэнсис Карр в курортном городе Брайтоне инсценировал судебное разбирательство по делу об убийстве Моцарта. В нём участвовали шесть актеров, в костюмах той эпохи исполнявших роли членов суда, а также основных действующих лиц драмы, разыгранной 220 лет назад. Нескольким сотням зрителей – присяжным заседателям – предстояло решить, кто мог убить Моцарта. Большинство признало виновными Сальери и Зюсмайра.

Был создан прекрасный фильм Милоша Формана «Амадеус», изображающий Моцарта аутентичней, чем все предыдущие опыты моцартоведов.

Профессор д-р М. Фогель в 1987 году выпустил неподражаемую книгу о Моцарте, целиком построенную на материалах, снабженных только краткими комментариями: «Mozarts Aufstieg und Fall» («Взлёт и падение Моцарта»). В ней, например, есть такие слова:

«В самом деле, при таком количестве подозрительных обстоятельств, говорящих в пользу насильственной смерти, любой суд в наше время просто обязан был бы возбудить дело об убийстве».

Выводы Фогеля достойны того, чтобы быть процитированными:

«Тот, кто желает понять логику событий, связанных со смертью Моцарта и его погребением, должен проникнуться ситуацией. В то время, как Моцарт чувствовал приближение своего конца, с каждой неделей слабел, пока, наконец, не слег совсем, активность его врагов все возрастала, и с его смертью, точнее сразу же после неё, достигла своего печального апогея. Физическое уничтожение сопровождалось кампанией, направленной и на уничтожение Моцарта как личности. Отказ в христианском погребении достаточно прозрачно показывает, что враги добились своего: он был устранен и вытравлен из памяти не только физически, но и морально».

Отравление Моцарта для широкой общественности и для света преподносилось как закономерный конец несправимого кутилы, загнавшего себя в могилу в результате необузданного распутства с директором театра «Ауф дер Виден» Эммануэлем Шиканедером.

Воистину этот свет не осознавал, что он имел в лице Моцарта и что он потерял с его смертью!..

И я вспомнил, что Адольф Шикльгрубер (Гитлер) очень часто использовал музыку великого композитора в пропагандистских целях. Фюрер всеми фибрами души презирал Австрию (кстати, свою родину) и не скрывал этого. Он отвергал претензии Вены на Моцарта, постоянно и энергично подчеркивая, что Моцарт – сын Германии.

В Советском Союзе музыка Моцарта была всегда востребована. Как сказал Г. Чичерин: «В реальной жизни сегодняшнего дня Моцарт делает уверенным, здоровым, на все готовым.

Моцарт дает связь с всеобщей жизнью сегодняшнему дню и сегодняшней детали работы и жизни. Моцарт – есть лекарство. В песенке Керубино, влюбленного в графиню, древний хаос шевелится. . . Бесподобны фортепьянный концерт c-moll и фортепьянный квартет g-moll, полные ликующих деталей реальной жизни. . . Ни один художник не дает такого слияния космоса и жизни».

Noblesse oblige⁴

*«Самым непримиримым образом люди ненавидят освободителей
духа, самым несправедливым – любят...»*

Ф. Ницше

Наконец, с последним presto победа достигнута. Да, дитя родилось на свет; но муки родов были ужасны. То была не триумфальная песнь, но вздох усталости, вздох облегчения, вздох сомнения в ценности победы – любой ценой...

Едва коснувшись моего слуха, музыка захватила меня целиком, проникла в каждую клеточку тела: океан звуков хлынул сквозь меня, смывая на своём пути все преграды, разъедавая мою плоть, мою кровь, мои кости, все мои мысли, все чувства. Тело моё – в привычном виде – больше не существовало. Его подхватила энергия, имя которой – Вольфганг, закрутила в бешеном вихре, смяла, разорвала на части и принялась лепить сызнова, придавая ему все новые формы. Так превращается в бабочку гусеница, заточённая в коконе, так море бьётся о песчаный берег, меняя его облик. Но те перемены, что творились со мной, были во сто крат сильнее. Ибо я и был морем звуков. Волны – нет, огромные валы! – радости, страха, отчаяния подхватывали и швыряли меня. Меня? Но что есть я? Меня не было!

Тем временем моя собственная жизнь шла своим странным чередом.

Раз в неделю, по понедельникам, в восемь двадцать утра я выбирался из своей квартиры, что находилась в Лиховом переулке, садился в метро и отправлялся до станции «Белорусская». Пешком преодолевал расстояние в километр – полтора – шел к своему лечащему врачу. Поликлиника была в старом здании, там шел какой-то вечный ремонт. Смотрелся у врача, который продлевал мне больничный лист и возвращался домой. Мне нельзя было надолго покидать Моцарта.

С каждым новым выходом в мир я тяготился им все больше и больше и всякий раз чувствовал огромное облегчение, когда возвращался к себе в Лихов переулок. Бросал выписанный эскулапом рецепт в ящик стола, а больничный лист водружал на видное место.

Удивительно, но мне хватало на сон всего четырёх-пяти часов. И в одежде я не делал особых изысков: носил одно и то же – потертые синие джинсы и такую же куртку. Спал я, часто не раздеваясь, – в кресле у стола или заваливался под плед на диване. Подремав и восстановив силы, я вставал и, загрузившись очередной порцией кофе, принимался за работу.

Постепенно стало теряться ощущение времени. Меня вообще ничто не волновало, кроме моего расследования и какой-нибудь весточки от Веры Лурье.

И вот случилось: я обнаружил в почтовом ящике конверт из Германии, подписанный каллиграфическим почерком, мне уже хорошо известным. Именно этой рукой был выведен перевод писем от профессора Гвидо Адлера композитору Борису Асафьеву.

Разорвав конверт, я стал читать:

«Мне нанесли визит двое отвратительных мужчин в сером. Они знают про Вас и пакет с рукописями, которые я передала. Существуют и другие документы, но они хранятся не у меня. Думаю, что Вас найдут и передадут все до листочка. Настройтесь ещё на одну поездку в Вену. Место встречи у храма св. Стефана.

Вам ничего не говорит имя графа Дейм-Мюллера?

Берегите себя, Макс. По моим предчувствиям ваша жизнь в опасности. Постарайтесь не выходить на контакт со мной. Я у них под надзором. Не хочу впутывать вас в новые неприят-

⁴ Благородное происхождение обязывает (*фр.*)

ности. Молю Бога о том, чтобы когда-нибудь вы простили меня за то, что я втянула Вас во все эти смутные дела.

Дорогой Макс, да хранит вас Господь. В. Лурье».

Открытка, присланная Верой Лурье, показалась мне тяжелее куска кирпича. Как раз тогда, когда мои мысли стали выкристаллизовываться и оформляться в нечто законченное, и забрезжила реальная надежда расшифровать «моцартову» головоломку, возникли новые препятствия, барьеры, а вязкая, липкая трясина неопределённости снова стала засасывать меня в свою воронку...

Изучая жизнь графа Дейма, я узнал, что он тоже помешался на Моцарте. Я решил как-нибудь при случае расспросить Веру Лурье об этом скульпторе, художнике и неординарном человеке...

Время текло незаметно, как вода в реке. На изучение Моцарта было потрачено полтора месяца, и все только начиналось. Погружаясь в сферы, связанные с жизнью и смертью великого композитора, я с покорным равнодушием замечал, как угасает мой интерес к моей вчерашней жизни. Меня волновало лишь то, что было связано с Моцартом.

Меня уже перестала занимать проблема: почему именно мне, а не кому-нибудь еще, Вера Лурье отдала эту рукопись?

Мысленно я возвращался то к беседе по душам у шефа, то к тому человеку в сером, который прицепился ко мне в Шереметьево-2, или к астматику с его прямыми угрозами в мой адрес на Ваганьковском кладбище. Вопрос – кто эти люди и чего им от меня нужно?

Мне приходилось встречать тайных агентов всех мастей, рядившихся то под спортсменов, то под коллекционеров книг, картин, икон и прочего антиквариата – да под кого угодно! Но эти люди в сером не подходили ни под один из стереотипов, включая даже киношного персонажа американского триллера с комедийным уклоном.

Что там, в депеше от Веры Лурье? Ах, да! Ей нанесли визит «двое в сером», причём не для светской беседы, а судя по письму – по более серьезному делу. С точки зрения дилетантов, все это походило на дурацкий телевизионный «Розыгрыш»... Ну, кому понадобилось гоняться за рукописью из прошлого века, касающегося давно умершего композитора? Мне этого было не понять, даже если остроту вопроса разбавить рюмкой водки. Кстати, у протокольной службы есть такая форма официального решения: ответа не будет. Так и в моём случае с Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Во мне боролись два начала: наряду с пламенной страстью к изучению Моцартовой проблемы, я был недоволен баронессой Лурье за то, что она втянула меня в эту историю...

На память пришли воспоминания об особняке графини под Берлином, где я почувствовал и осознал себя настоящим человеком, и где я растаял от счастья.

А что сейчас?

Я, будто сыскарь из частного бюро, ушёл с головой в работу, в это детективное расследование, и с одержимостью диссертанта строю подлинную биографию Моцарта. Прошло несколько недель, а квартира моя стало более походить на прибежище бомжей, нежели интеллигентного человека, занимающегося научными исследованиями. Завалы из исписанных бумаг, журналов, книг, неубранного бытового мусора. Куда ни посмотришь – пустые бутылки вперемежку с грязными тарелками, чашками и остатками еды.

Не найдя нужной статьи из медицинского журнала, в которой говорилось о болезни Вольфганга, я пришел в неопишную ярость. Опрокинул полки с книгами, которые как домино рассыпались на полу. Я ещё долго кричал, топал ногами, проклиная всех сразу: Веру Лурье, незнакомцев в серых одеждах и, разумеется, свою персону. Ещё такой срыв – и можно записываться к психиатру на прием...

Я почувствовал, что сторонюсь дневного света, и оживаю в сумерках, особенно ночью. Поэтому в яркий солнечный день я старательно драпировал окна, чтобы ни лучика света не

проникало с улицы. То ли это была мания преследования, то ли светобоязни. Зато когда на небе царила полная луна, я раздвигал шторы и через щелку тщательно всматривался в свой двор-колодец с коллектором для мусора, стараясь заметить подозрительных субъектов.

Я перешёл на иное поведение – строгую конспирацию. Вечерами, ночью или, когда был день, особенно сумрачный, я использовал настольную лампу или ночник над кроватью. Они давали света столько, чтобы разобрать слова на странице листа или книги.

Так я жил-существовал во тьме-забытьи, в которое проваливаешься под тяжестью страшной усталости. И вообще внешний мир потерял для меня свой смысл. Как бы перестал существовать. Я хотел одного: оставаться одному, чтобы ничто и никто не отвлекал меня от моей работы над документами, книгами и рукописью.

Я внушал себе, что терять мне нечего, кроме своих цепей. Тем более, что до России им, голубчикам, не дотянуться – руки коротки. Хотя, что это я? Они наверняка уже обложили меня, как сибирского медведя в берлоге: за мной ведётся «наружка» – наружное наблюдение, телефонные переговоры прослушиваются, передвижения контролируются. ... Так что за моим самовнушением скрывался подленький страх, страх перед неизвестностью, какого я никогда прежде не ведал. Я, возможно, тронулся бы, если бы не работа, за которую я крепко ухватился: некогда было продохнуть. Много усилий требовалось по сбору всей возможной информации, касающейся великого маэстро.

Мне до нестерпимости хотелось досконально познать тот мир и то время, в котором Моцарт родился, вырос и стал великим. Гением. Чем больше я читал о нём и о том времени, тем быстрее он оживал, превращаясь в реального человека.

На мои глаза попала имя 33-летнего Игнаца фон Борна ученого-минералог. За полгода до смерти Моцарта, 25 июля 1791 года, в жестоких конвульсиях погиб этот борец с престолами и католическими князьями. Мне нужно было разузнать все о тайных обществах, масонских ложах, движущей силой которых в Вене, да и в Австрии, был неподражаемый Игнац фон Борн.

Итак, Моцарт, обосновавшись в Вене, считался с духом своего времени и вступил в столичную масонскую ложу. Вряд ли его сущность претерпела изменения после этого.

5 декабря 1784 года ложа «К благотворительности» известила венские сестринские ложи о приёме в свои ряды «капельмейстера Моцарта», последовавшем 14 декабря (ученик). Стремительно пройдя низшие градусы, знаменитый адепт уже 7 января 1785 года стал подмастерьем, а 22 апреля того же года Вольфганг получил доступ в ложу мастеров. Это позволяет заключить о присуждении ему тогда 3-го градуса посвящения, – поистине головокружительная карьера всего за несколько месяцев, тогда как простому смертному для этого понадобилось бы неизмеримо большее время! Магистром ложи, куда вошел Моцарт, был писатель Отто Франц фон Гемминген-Хорнберг, мангеймский покровитель Моцарта в 1778 году.

Чисто по масонской тематике Моцарт коснулся эзотерических сфер в шести сочинениях – всего лишь сотой части его музыкального наследия. На время первого масонского взлёта приходят и соответствующие сочинения. В основном это песни и кантаты, например, «Gesellenreise» («Путешествие ученика» (масона)), «Die Maurerfreude» («Радость масона»). В ноябре 1785 года, по случаю смерти одного из братьев масонов, было исполнено оркестровое сочинение «Maurerische Trauermusik» («Масонская траурная музыка»).

Впрочем, ещё исследователь-биограф Отто Ян указывал, что принадлежность к масонству не принесла великому мастеру никакой ощутимой пользы.

Более того, смерть Моцарта попадает в настораживающее соседство с двумя особыми событиями: премьерой «Волшебной флейты» 30 сентября и освящением второго храма венской ложи «Вновь венчанная надежда» 18 ноября 1791 года.

Вернемся ко времени правления императора Иосифа II, который, по инициативе Игнаца фон Борна, отдал распоряжение о слиянии восьми лож в две. Каждая из этих двух тайных организаций насчитывала по 180 членов! Ложа Моцарта «Благотворительность» растворилась

во «Вновь венчанной надежде». Это произошло в середине января 1786 года. Магистром здесь был барон Филипп фон Геблер. Во главе другой сохранившейся ложи стоял виднейший минералог Игнациус Эдлер фон Борн, который помимо естественнонаучной деятельности в «*Journal für Freymaurer*» («Журнал для масонов»), им же и основанном, отдавал дань своему нешуточному увлечению Древним Египтом и таинствами. Надо сказать, большинство значительных фигур из окружения Моцарта – как друзья, так и враги – входили в какую-нибудь ложу. Доказано, что Готтфрид ван Свитен был иллюминатом. Антонио Сальери, соперник Моцарта, как и все высокопоставленные государственные чиновники, мог входить в одну из лож, тот факт, что его имя отсутствует в их списках, ни в коей мере не противоречит такой возможности.

Присутственные протоколы других лож также характеризуют Моцарта рьяным адептом, по крайней мере – вначале. Но этот энтузиазм, по-видимому, уже в 1785–1786 годах пошёл на убыль. За это время написаны пять масонских сочинений из шести, затем подобных опусов в списке Моцарта не значится, за одним, правда, исключением. Незадолго до смерти по случаю освящения храма прозвучала кантата «*Laut verkunde unsre Freude*» («Громко возвестим нашу радость», К. 623), – что с вероятностью, граничащей с истиной, произошло не без внешнего давления (менее всего Моцарт должен был скончаться как Христос, но обязательно «правовверным братом»).

Когда в 1786 году на подмостках прошёл «Фигаро» и аристократия увидела, как этот молодой человек самым унижительным образом позволил себе проявить к ней пренебрежение, то от великосветского бойкота его уже не могло спасти никакое идеологическое пальтецо.

Стал ли впоследствии Моцарт противником ложи? На этот вопрос вряд ли можно ответить утвердительно. Скорее всего, он просто стал безучастным к её делам. 20 февраля 1790 года умер император Иосиф II – по достоверным источникам, «братом» он не был, но ложито терпел! – на трон вступил Леопольд II, и вскоре подул ледяной ветер перемен. Масонов стали называть... врагами порядка, религии и императорского дома. Большинство членов ордена просто покинули ложу. Весьма возможно, что под давлением именно этих обстоятельств форма «Волшебной флейты» претерпела свой решающий поворот.

5 декабря 1791 года исполнялось ровно 7 лет, как Моцарту было предложено вступить в «Благотворительность». Семь лет созидательной работы над так называемым «Соломоновым храмом» (См. Третью книгу Царств (6, 38)), завершились, день в день. Справившись в срок, архитектор храма Адонирам – именно под таким именем, наделённый отличиями высшего градуса шотландского обряда, неожиданно является Моцарт в циркулярном письме ложи от 20 апреля 1792 года – закончил свой жизненный путь.

На могиле Моцарта не было ни одного из его братьев по ложе, и никто не сказал ему слов благодарности за «Волшебную флейту».

На следующий день после смерти Моцарта покончил жизнь самоубийством его друг и «собрат» Франц Хофдемелль; и конечно, не потому, что, как утверждали злые языки, «госпожа Хофдемелль ждала ребёнка от покойного Амадея».

Устав проекта моцартовского «Грота» утерян безвозвратно.

Музыковед Бошо говорит о маленькой «*Sonate facile*» («Лёгкая соната») C-dur следующее:

«Это чудо простоты и волшебной выразительности. Можно ли с меньшим количеством нот быть более трогательным и разнообразным?»

В сонате все время слышатся только два голоса. Внешне – прозаическое ничего, а вот внутри, в глубинах! Под простейшей оболочкой заключён целый Ниагарский водопад формы и содержания.

Я понял только, что изучение Моцарта требует очень серьёзной музыкальной культуры и прежде всего подготовки. Чем больше я читал о музыке Вольфганга, тем больше хотел её слушать. Как иначе можно понять суть личности композитора – того, кто жил работой, музыкой?

День и ночь я слушал его произведения, слушал и боялся, что теперь не смогу без неё и минуты прожить. Музыка же Моцарта почти в полном объеме остается абсолютно доступной для каждого, слушающего её сердцем – независимо от его культурного уровня и музыкальной образованности. Лёгкий и приятный стиль, который сохраняется даже в самых трагических и таинственных фрагментах музыки, приводит к тому, что она остается открытой и народной, то есть понятной всем без исключения.

Сознавал ли Моцарт, кто он вообще есть? Знал ли, что писал? Можно ли, требовать от него отчета за содеянное в жизни? Некий ранний почитатель связал с ребенком Моцартом слова гомеровского гимна Гермесу: пораженный Аполлон внимает чуду игры на арфе младого Гермеса и вопрошает, кто дал ему этот благородный дар божественного пения, смертный или Бог: никогда доселе не звучали столь чудные звуки. Так и мы поражаемся сначала ребенку, затем взрослому Моцарту: он был и остается посланцем из другого мира.

Право же, было от чего свихнуться. Втыкаешь в уши наушники – и твое тело, разламывающееся на части, и голова, страдающая от диких головных болей, – все это вдруг приходило в некую гармонию и согласие. И я продолжал слушать Моцарта, время от времени задаваясь вопросом: что за дивная энергия поддерживает меня? Ведь требовалась масса сил, чтобы продолжать заниматься тем, чем я занимался. Без усталости и практически без сна!

Доходило до курьёзов. В период напряжённой работы, чтобы передохнуть, я закрывал глаза и воочию видел его великолепную голову с большими голубыми глазами и мясистым носом, – маэстро что-то колдовал над моим кухонным столом.

Иногда я видел его маленьким изящным вундеркиндом Вольферлем, одетого в костюм из тончайшего драпа лилового цвета, с таким же муаровым жилетом; и весь комплект был отделан широким золотым галуном. Он играл в четыре руки в Шёнбрунне с сестрой Нанерль под одобрительные взгляды жены императора Марии Терезии. Как хотелось маленькому вундеркиндю выглядеть аристократом, но он был всего лишь диковинной забавой или игрушкой для высокопоставленных особ. В великосветских гостиных вундеркинда Моцарта, наверное, держали за ряженую обезьянку. Встань, зверушка, на задние лапки, сыграй нам на клавесине втёмную, без нот и клавиатуры. Ну-ка, ну-ка... Ай да, молодец!

Представляя себе эту картину, я вспоминал великого Гёте, который в молодые годы бывал на представлениях маленького волшебника из Зальцбурга. Удивительно, что юный Вольфганг прекрасно понимал: его просто-напросто использовали! Вот почему он с такой страстностью разорвал отношения с деспотом и самодуром архиепископом Зальцбурга Иеронимом фон Коллоредо.

Читая книгу за книгой, я перелистывал страницы жизни Вольфганга, изучал его письма и не мог избавиться от мысли о том, что он всегда стремился пройти все тернии в своей судьбе, поскольку знал, что он велик и недосягаем. Мечтал найти для своих шедевров подмости и поклонников. Но творческая атмосфера, царившая на столичной сцене с её интригами, заговорами и подковёрной борьбой приводили к тому, что Вольфганг постоянно оказывался у разбитого корыта.

Мы стали так близки с Моцартом, что я иногда спрашивал себя:

«Господи, может, Вольфганг – это я, а написанные книги, статьи, эпосы – всё это обо мне?»

Как-то раз мне на глаза попала репродукция Зюсмайра. Она, естественно, была сделана в девятнадцатом веке, в конце столетия. Зюсмайр выглядел напыщенным и самовлюбленным человеком, на лице которого было написано, что он тщеславный карьерист и доносчик. Франц Ксавер к тому же был молчун или был тем тихим болотом, где черти водятся. А поза, в которой он был запечатлен художником, заложив одну руку за борт сюртука, – ни дать, ни взять его учитель А. Сальери! В другой руке он сжимал дирижерскую палочку. У Зюсмайра были оловянные рыбы глаза, которые оживлялись, наверное, только в присутствии вельмож-

ных особ. Такими глазами на мир смотрят люди хитренькие, себе на уме. Когда я разглядывал фото с редкой репродукции Зюсмайра, мурашки пробежали у меня по телу. Неудивительно, что Моцарт называл своего секретаря Свинмайром и рекомендовал домашним подвергнуть его экзекуции: отвесить ему пару-тройку затрецин и побольнее – с оттяжкой. Чем так прогневил ученик своего учителя, откуда такой черный юмор?

Чем больше я читал о Вене того периода, когда в ней жил Моцарт, тем больше убеждался, что Моцарт любил этот город. Скоро и я уже грезил по той австрийской столице, которая безвозвратно канула в Лету.

Думаю, Вольфганг жил там по одной-единственной причине: Вена в то время была музыкальной столицей мира. Понятно, что Моцарт при всяком удобном случае выбирался из Вены в Прагу, в города-княжества Германии, в Италию, Англию и даже собирался к нам, в Россию. Естественно, это не была страсть к путешествиям, а реальная возможность найти место капельмейстера у какой-нибудь высокопоставленной особы. Но всё было тщетно.

Я лишь мог гадать, где прогуливался композитор. Конечно же, в Пратере – об этом написано везде. Тогда по каким местам совершала променады баронесса Вера Лурье?..

Чем больше я узнавал о Зюсмайре, о его адюльтере с Констанцией, тем яснее становилась картина. Сразу же после смерти маэстро он и вдова композитора стали разбирать архив Моцарта, принявшись немедленно уничтожать письма, документы, бумаги, хоть как-нибудь компрометирующие Констанцию. Поскольку они тогда ещё действовали сообща, то тем очевиднее становилось: Франц Ксавер действовал преднамеренно, стараясь утаить правду о Вольфганге Амадее. Всё, что касалось отношений Вольфганга с коллегами по сцене, женщинами, с секретарём Зюсмайром. И то, где было видно, что композитор состоял в тайном обществе. И все это делалось, наверняка, по указке сверху.

Моя миссия была однозначной: узнать хоть мизер этой правды, пусть даже необходимые документы оказались уничтоженными.

О Магдалене Хофдемелъ мне удалось выяснить в основном то, что Вольфганг её боготворил и любил её. Я настолько сильно привязался к этой загадочной фигуре, что она тоже стала являться в моих сновидениях. Поначалу это был лишь смутный образ. Она «приходила» в мою квартиру в Лиховом переулке, как мимолетное видение – обворожительная фея, черты лица которой я не успевал толком разглядеть.

Но со временем визиты Марии Магдалены стали продолжительнее. Иногда я просыпался, отчетливо помня: да, я только что виделся с ней. Это отнюдь не доставляло мне радости. Напротив, я испытывал страх – помимо моей воли какая-то сила увлекала меня в пропасть, в бездну. И хотя эта бездна сулила обернуться половодьем наслаждений, я сопротивлялся, ибо боялся, что всё это меня поглотит.

И вот однажды ночью мне удалось довольно хорошо рассмотреть Магдалену Хофдемелъ. Мне снилось, как будто я иду по улицам Вены, той Вены, в которой жил Моцарт, и прохожу мимо высокого здания – скорее всего, то была городская ратуша. Город отмечал роскошный праздник. Скорее всего, это было Рождество, так как ратуша была украшена золотыми, зелеными и красными тканями; изо рта шел пар и воздух казался студеным. Я одиноко брел по улице, повсюду высматривая Вольфганга. Неожиданно из-под высокой железной арки со стороны фасада навстречу мне вышла женщина и взяла меня за руку. Я узнал Марию Магдалену. Её наряд поразил меня: длинное, мягко облегающее фигуру платье тех же цветов, что и украшения на ратуше. Плечи почти полностью обнажены. Бежевый лиф контрастировал с нижней частью платья – по цвету и по текстуре. Он был выполнен из необычного материала и сверкал на солнце, словно сусальное золото куполов. Я почувствовал, что меня тянет к ней, и нет мочи противиться. Магдалена Хофдемелъ влекла меня к себе подобно тому, как влекут джунгли, изумрудно-таинственные, непроходимые, полные животных и птиц. Я подался вперед, чтобы коснуться сверкающего кофейного лифа Марии Магдалены, но моя рука прошла сквозь ткань,

как, впрочем, и сквозь тело женщины, не встретив препятствия, как будто передо мной находилась поверхность волшебного зеркала, открывающего путь в параллельный мир...

Внезапно я проснулся. Неужели Магдалена Хофдемель, есть частица иной субстанции, или, проще говоря, недостижимый идеал женщины вообще? А может, само провидение было заинтересовано в том, чтобы представить Марию Хофдемель чуть ли не пенорождённой Афродитой. Я решил расспросить об этом баронессу Веру Лурье, когда мы вновь встретимся.

Чем дольше я вчитывался в текст писем самого Вольфганга, в написанные о нём книги, чем дольше наслаждался его музыкальными сочинениями, тем сильнее задумывался: практически все, что создал Моцарт – это громадная, неслыханная по размерам галактика. И чем дольше его изучаешь, тем более обнаруживаешь сложность и божественность его музыки, которая только начинает открываться.

Лёгкое и беспечное на поверку оказывается пессимизмом, скорбью – проблемой, тайной за семью печатями. «Прозрачность» и «лёгкость» Моцарта – это «прозрачность» и «легкость» внешняя, как у Пушкина – только обманчиво-кажущаяся, а в ней заключена величайшая значительность и полнота. Моцарт – самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический композитор. Загадочность его личности, скрывавшей под оболочкой грубого балагурства и смешных шуток свои неизведанные глубины, соответствуют загадочности его музыки. И чем больше я вникал в его вселенную, тем более убеждался: как мало ещё осмыслил ее, как мимолетно ощутил душой...

Кстати сказать, я день ото дня погружался всё глубже и глубже в состояние отрешённости от мира, в некий психологический анабиоз.

Нетрудно было догадаться, что я оказался и физически и нравственно поработан. В первую очередь, конечно, Моцартом, его музыкой, душой маэстро, но не только этим одним. Пожалуй, в не меньшей степени – проекцией его гигантской тени от его могущественного образа, сотканного за двести прошедших лет моцартоведами всех мастей...

Мне стало страшно. Причём, этот был другой страх, – не тот, конкретный, что я испытывал в критические минуты жизни. Там страх был управляем, его можно было преодолеть – нужны были только психофизические тренировки. Преодолеешь страх – и ты благополучно достигнешь цели. Но этот, теперешний, страх был иным. Он не имел вектора и более того, был бесформенным, всепроникающим – достигал каждой клетки души и тела. По мере того как я выстраивал свою собственную версию биографии Моцарта, мой страх превращался в беспощадный молах или гнёт.

Я спасался работой и рассчитывал, что при таком подходе не останется сил для «размышлений на лестнице», особенно по поводу: что произойдет со мной, когда в жизнеописании Вольфганга Амадея Моцарта будет поставлена точка?

Наконец, этот момент настал. Для этого пришлось проглотить и переварить дюжину фундаментальных трудов, перелопатить гору первоисточников: документы, письма, свидетельства современников, записи музыкальных произведений Моцарта. Сведения зачастую были противоречивыми, но всё-таки удалось собрать кучу фактов. Вот какую работу понадобилось проделать в поисках ответов на вопросы: кто такой Вольфганг Амадей, кем он был и что за тайна скрывается под именем «Моцарт и его жизнь». Вероятно, это очень большая тайна, иначе, зачем было Зюсмайру и Констанции уничтожать письма композитора, перетасовывать его музыкальное наследие, прятать «неудобные» документы или свидетельства современников композитора? Надо признать, что не вся интересующая меня информация была уничтожена или засекречена.

Когда я заканчивал излагать тезисы по теме «Жизнь и смерть Вольфганга Моцарта», у меня вдруг отлегло от души. Непонятная болезнь отступила, или же дала мне передышку. Перестали мучить мигрени, ушел звон в ушах, перестали мельтешить мушки перед глазами.

Мне пришлось честно признаться: методика, которой я владел, и весь мой опыт технаря и гуманитария ни на шаг не приблизили меня к цели: я не сумел избавиться от своей навязчивой идеи, от преследовавшего меня образа Вольфганга Амадея – образа человека, которого я никогда не знал.

Но какие-то могучие силы принуждали меня копать во всем: в деталях, нюансах той далекой жизни Вены эпохи великого Моцарта. Но взамен потраченным усилиям я получал не эстетическое наслаждение, а наоборот – ощущал себя выбитым из привычной колеи, зависшим между небом и землей. Но стоило мне сделать перерыв в моём марафоне, как вернулись мучительные проявления болезни. Пришлось продолжить свои изыскания по Моцартовой теме.

Два месяца я не листал газет, не смотрел новостные программы по телевидению, а общался лишь со своим беспрерывно курящим врачом, которого продолжал посещать раз в неделю. Пару раз встретился с Анатолием Мышевым, интересуясь, когда он закончит перевод рукописи. А он не торопился и тянул резину с моим заказом.

Раз или два в неделю я выбирался из своей мрачной обители в Лиховом переулке на свет Божий и направлялся либо в «Иностранку», либо в «Ленинку», либо в Центральный архив литературы и искусства. Все эти объекты были надежно защищены от моих преступных посягательств – оттуда украсть мне ничего не удавалось. Вороша документы, извлекая на свет божий письма, написанные сто лет назад, я диву давался святой наивности тех людей, которые жили, смеялись, любили в начале прошлого века.

Занимаясь масонской темой в центральном архиве литературы и искусства, я наткнулся на предсмертное письмо Виктора Петровича Обнинского, да-тированное 20 мартом 1916 годом. Член Государственной Думы В. П. Обнинский состоял в масонской ложе, написал пророческую книгу «Последний самодержец». Его «лебединая» депеша было обращена к Рашель Мироновне Хин-Гольдовской, писательнице и близкому другу Обнинского.

«Ещё и эту беду приходится Вам пережить, – сообщал он Р. М. Хин-Гольдовской, пометив на конверте, чтобы сию депешу вручили адресату после того, как гроб опустят в могилу. – Но отнеситесь к моему уходу с мудростью. Вы все знаете. Вы видели, как долго я боролся с судьбой, и Вы знаете, что утрата большой привязанности может разбить и более крепкое сердце, чем моя жизнь. Благодарю Вас за все, за дружбу, за мягкость, за постоянное снисхождение к своему эгоистическому другу. В моей жизни Вы занимали очень большое место. Мне очень тяжело оставлять немногих людей и Вас, конечно же, в том числе. И Вас тяжелее оставлять, потому, что оставшимся, я твердо верю в это, своей смертью я приношу счастье. Я умираю без злобы на кого бы то ни было. Виновных, поистине нет, и Вы, милый друг, никого не вините за меня. Обнимаю Вас всех. Устал, не могу жить, простите. Ваш всей душой **Викториша**».

Как человек интеллигентный, по-своему болеющий за Отечество, часто совершавший ошибки, а потому и сомневающийся, В. П. Обнинский видел недостатки самодержавия и оппозиции. Волею providения он встал в ряды того славного ордена русской интеллигенции, которая, по словам Н. А. Бердяева, прозорливо сказавшего в эмиграции: «Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм».

С точностью до наоборот случилось в 90-х годах прошлого века, когда, перефразируя Бердяева: вся история советского диссидентства подготовляла приход и становление нынешней олигархии, а Россия в который раз вновь оказалась на краю физической гибели...

Мне было тяжело переживать все это вновь – ворошить в памяти то, что я когда-то постарался забыть раз и навсегда. Увлекаясь в молодости тайными правительствами и изотерическими обществами, сплошь состоящими из высокомерных господ, взявших на вооружение мораль: цель оправдывает средства, к тридцати годам я был по горло сыт масонскими заговорами, потугами современного мондиализма. По сути своей коммунизм вышел из всего этого варева. Но когда он стал трансформироваться в нечто иное, вновь вступил в игру тот же Орден Русской интеллигенции. Все это я видел изнутри, поскольку значительную часть жизни я про-

вёл среди таких же членов «ордена». И они нарасхват использовали меня в своих целях, да я и сам во многом был таким же. Самое страшное в них было их кредо: презрение к жизни простого отдельно взятого человека, животного, растения и мира в целом.

Я радостно бежал следом за своими идеологическими командирами, дыша им в спины и считая, что все вот-вот изменится, а кругом будет настоящая свобода и демократия. Но потом был август 1991 года, защитники Белого дома, трое молодых ребят, нелепо погибших под гусеницами заблокированных толпой танков. Дальше – больше. Бессмысленный расстрел из танковых орудий парламента; жуткий рассказ чудом выжившего знакомого журналиста из «Российской газеты», оказавшегося в эпицентре этой бойни.

Вскоре у меня возникло стойкое ощущение того, что я болен, болен нравственно, загнав недуг вовнутрь. Болезнь точила меня, охватывая все моё существо, будто там, в глубинах моего организма, таился некий воспалительный процесс, который вот-вот должен был прорваться как созревший аппендикс – и окончательно погубить весь организм. Но я между тем пыжился и убеждал себя в том, что у меня все о'кей, а отрицательные эмоции можно просто позабыть или напрочь вычеркнуть из памяти.

Самообман продолжался до тех пор, пока в моей жизни не появились великий Моцарт, графиня и поэтесса Вера Лурье со своим загадочным досье. Все это и спровоцировало последующие события. Я заново обрел способность ненавидеть, приходить в ярость, искренне радоваться честности, правде, достоинству и чести. Во мне закипала злость на людей без души и сердца, на алчных мерзавцев, что калечат судьбы своих собратьев, губят всё и вся живущее на нашей планете.

Я злился и на собственное бессилие и трусость. В голове эхом звучали слова профессора Гвидо Адлера:

«Я очень сожалею о том, что струсил. Должен вам признаться, я никогда не отличался особой храбростью».

Но я не стал заикливаться на этих вопросах, а переключил внимание на книгу, которую держал в руках. Какая связь между ней и датами и событиями, указанными в рукописных страницах? Почему и для чего их автор поместил данную хронику в том же издании, повествующем о Моцарте и созданной им «Волшебной флейте»? Меня поразила фраза о том, что ни одно из оперных либретто во всей музыкальной литературе не толковалось многими поколениями так превратно, как либретто «Волшебной флейты».

Либреттиста упрекали в отсутствии вкуса и просто бестолковости, даже великий русский композитор Пётр Чайковский 1 сентября 1880 года по этому поводу писал госпоже фон Мекк:

«Начну с „Волшебной флейты». Никогда более бессмысленно глупый сюжет не сопровождался столь пленительной музыкой».

Отто Ян, один из первопроходцев в классической биографике Моцарта, констатировал:

«Нет необходимости упражняться в критике этого либретто. Безынттересное действие, противоречия и нелепости в характерах и ситуациях ясны как день, диалог тривиален, а версификационная часть – убогое стихоплётство, которое уже не поправишь отдельными исправлениями...»

Иначе отзывается историк музыки А. Шуриг в своей книге о Моцарте (1913):

«Текст, прочитанный под сотней различных углов зрения, поднимается пирамидой благородных, таинственных и поразительных идей, корни которых уводят к мировоззрению давно минувших культур. В тексте „Волшебной флейты» заключены и прозрения и Моцарта».

Тот же Георгий Чичерин, влюбленный в музыку Вольфганга Амадея, писал в своём исследовании «Моцарт»:

«Если опера «Cosi fan tutte» («Так поступают все») – самая утончённая из моцартовских опер, то, наоборот, «Волшебная флейта» – самая народная: Моцарт откликнулся на французскую революцию хождением в народ, попыткой создания простонародного немецкого искус-

ства. Моцарт был рьяным масоном; а в масонских ложах, конечно, много говорили о революции. Это всецело относится к «Волшебной флейте». Моцарт написал её для шиканедерского народного театра «Ауф дер Виден», театра городского предместья, и он действительно проник ею в массы (в «Германе и Доротее» отрывки из «Волшебной флейты» исполняются у маленьких мещан) и больше всего через глубоко немецко-народную фигуру Папагено. «Волшебная флейта» – соединение двух стихий: немецкого народного представления, вроде балагана и масонства с его передовыми идеями».

И Рихард Вагнер отметил это соединение:

«Какие божественные чары веют в этом произведении, от его народнейших песен до возвышенных гимнов! Какая многосторонность, какое разнообразие! Кажется, что самое лучшее от всех благороднейших цветов искусства объединилось и слилось здесь в один единственный цветок. Какая непринужденная и вместе с тем благородная народность в каждой мелодии, от самой простой до самой величественной».

Как же найти ключ к царству Зоростро в «Волшебной флейте»?

Тот же Шуринг пишет об этом очень хорошо: «Собранный из сотен мест текст „Волшебной флейты“ представляет собой пирамиду благородных, таинственных и чудесных идей, корни которых ведут в мировоззрение далеких и чуждых культур. Пестро раскрашенная оболочка многообразно-символического ядра – творение Шиканедера, человека, за напыщенностью которого крылась истинно немецкая манера в работе. И не только в музыке Моцарта, но и в многократно оклеветанном тексте, заключён глубокий характер: нрав и юмор двух фантастов. Поэтому не должно казаться странным, что при ежедневном взаимном общении Моцарта и Шиканедера, в тексте „Волшебной флейты“ сохранились также внезапные находки Моцарта».

Удивительно точно высказался про музыку Рихарда Вагнера и Вольфганга Моцарта наш оперный бас Фёдор Шаляпин:

«Входишь в большой мрачный, торжественный дом; кругом – самая тяжелая и мрачная обстановка; тебя встречает нахмуренный хозяин, даже не приглашает сесть, и спешишь скорей уйти прочь – это Вагнер. Идешь в другой дом, простой, без лишних украшений, уютный, большие окна, море света, кругом зелень, все приветливо, и тебя встречает радушный хозяин, усаживает тебя, и так хорошо себя чувствуешь, что не хочешь уходить. Это Моцарт».

Красиво сказано, но это не весь Моцарт. И он вообще не так прост, он требует работы, а для этого надо вдумываться и вслушиваться, долго вникать в него...

«Ленинка» закрывалась. Я захлопнул книгу и двинулся домой, планируя завтра же вернуться в библиотеку и дочитать рукопись.

Все это время, пока я сидел взаперти, штудировал литературу и делал выписки, в моём уединенном логовище беспрестанно звучала музыка Моцарта.

Как тронула моё сердце «Маленькая ночная серенада»! Впервые я услышал её в Питере, в Концертном зале, когда мне было восемнадцать лет. Это был блестящий образец той категории произведений Моцарта, где стиль эпохи был продиктован целью, назначением самой вещи, как в танцах опер и парадных пьесах для определенного случая. Тут был налицо заказ для какого-то праздника, в Вене было распространенной привычкой устраивать концерты, особенно ночью, перед окнами лица, которое хотели почтить. «Ночная серенада» – подобный заказ. Писал её, конечно, зрелый Моцарт, это тонко, изящно, прелестно, полно жизни. Дирижировал оркестром кто-то из тамошних знаменитостей. Никогда прежде я не сталкивался с таким ясным, мощным и глубоким произведением. Впечатление от «Серенады» было ошеломляющим. Именно в тот день я решил, пусть жизнь окажется насквозь бесцветной, бессмысленной, пустой, но, если на свете существуют вещи столь насыщенные и осязаемые, как эта музыка, жизнь, вероятно, стоит того, чтобы за неё держаться. Но потом я почти не вспоминал о Моцарте и его таланте лет до тридцати пяти, когда мне вдруг приснился сон – тот самый, который мне недавно пересказала.

С той поры я стал покупать пластинки, а позже – лазерные диски и кассеты с записью произведений Моцарта, но делал это бессистемно, наугад. Купив очередную пластинку, а потом – лазерный диск или пленку, я прослушивал её разок-другой – и отправлял в ящик письменного стола. Не скажу, что мне не нравилась эта музыка. Мне нравилось многое. Поэтому я всегда заявлял, что предпочитаю Моцарта с его необыкновенной гармонией и блестящей, неземной прозрачностью мелодии. Но с той поры, как манускрипт Веры Лурье попал ко мне в руки, моё отношение к сочинениям Вольфганга изменилось. Я достал из ящика плеер, диски и пленки – все до единой, что когда-то купил, и принялся с жадностью слушать музыку. Я не снимал наушники ни тогда, когда читал или писал, ни тогда, когда меня смаривал сон. Я гонял лазерные диски на плеере, который мог работать в автоматическом режиме: когда диск прокрутился до конца, он автоматически переставлялся в начало.

Я слушал всё подряд, без разбора. День сменялся ночью, ночь – днём; звуки, аккорды – половодье музыки вытесняли посторонние мысли, образы знакомых и незнакомых людей, уголки природы, воспоминания о вещах и событиях. Музыкальный эфир пронизывал меня насквозь, порой заставляя трепетать, плакать или кричать от счастья. Царство музыки изолировало меня от мира, всё глубже и глубже погружая в одиночество, будто в глубочайшую Марианскую впадину. Музыка была чрезвычайно разнообразной. Каждое произведение являло собой мост, переброшенный от меня к чему-то неповторимому, единственному в своём роде, а часто – к целому космосу, в котором творил и жил Моцарт. Я не уставал изумляться: какую музыкальную империю он придумал, сколько миров открыл! Он никогда не повторялся.

Только, нырнув с головой в омут, где господствовала музыка великого маэстро, я понял: Моцарт самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический из композиторов. Кто не сидел специально и долго над Моцартом, кто в него упорно не вдумывался, с тем разговаривать о Моцарте – как со слепым о красках солнечного заката. Загадочности всей его личности, скрывавшейся под личиной грубого балагурства и смешных шуток и таившего свои неизведанные глубины – вот откуда загадочность его музыки: чем больше в неё вникаешь, тем больше видишь, как мало ещё понял ее.

Моцарт настолько универсален, что романтики восторженно доказывали: Вольфганг Амадей – наш и только наш, поскольку у самого Моцарта очень много мест, совершенно романтических по характеру. Яркий пример тому симфония Es-dur, которую часто называют «Романтической симфонией» или «Лебединой песней», понимая, что в ней скрыто много безутешной скорби, «regrets inconsolables» («Безутешные сожаления»).

Песня Моцарта «Abendempfindung» («Вечернее настроение») – чистейшая романтика! Зато перед симфонией g-moll романтики останавливались с полнейшим непониманием. Много романтического в «Дон Жуане» – таинственные предчувствия, ночные сцены, кладбище. Глубоко проникнута романтикой и «Волшебная флейта». В инструментальных произведениях Моцарта встречается масса мест или даже целые части, звучащие как музыка Вебера, Шуберта, Шумана.

Любопытна оценка произведений великого маэстро Рихардом Вагнером, который прославлял Моцарта до небес: «невероятная гениальность возвысила его над всеми мастерами всех искусств и всех столетий». И тут же подчеркивал: у Моцарта инстинкт ничего-де сам не понимал. Картина парадоксальная. Рихард Вагнер, с одной стороны, безгранично восторгался Моцартом, а с другой – представлял его музыкантом инстинкта, лишённым самостоятельности мысли, образования, хватающим без разбора какое угодно либретто. На самом деле это не так, именно к либретто Моцарт всегда подходил щепетильно и профессионально.

Я чувствовал каждое музыкальное произведение Моцарта всем своим существом, каждой клеточкой организма, будто его волшебные аккорды записались на генном уровне, всплывая сами собой в подсознании.

По мере того как моё знакомство с музыкой Моцарта углублялось, чудесные звуки становились моими друзьями. Совсем как люди: казалось бы, знаешь человека со всеми его привычками и странностями, и все же он не перестает удивлять тебя своими, открытиями, находками.

Как назло, под утро я провалился в необыкновенно крепкий сон, а когда проснулся, был уже полдень. Кроме того, как раз в этот день я должен был показаться врачу. Короче говоря, до Ленинки удалось добраться ближе к вечеру. Я намеревался проштудировать там от первой до последней строчки рукопись журнала, «О таинствах египтян» Игнациуса Эдлера фон Борна в его «Journal fuer Freimaureer» («Журнал для масонов»), надеясь, что это прольет свет на тайну Моцарта и на чертовщину, творящуюся со мной.

Я снова затребовал нужные мне книги, на поиски которой библиотекарь потратил битых два часа. Я с нетерпением раскрыл книгу. Выяснилось, что в тот раз я недооценил уникальность рукописи. Кроме дат и событий, я обнаружил на полях вопросы-пометки, сделанные почерком, отличным от почерка автора. Я хотел скопировать интересующие меня страницы, но сканнер, как нарочно, не работал, – заболела сотрудница.

В тот вечер, когда я вернулся домой из Ленинской библиотеки, мои мысли были заняты рукописью, обнаруженной под обложкой книги. Я забрался на диван и обложился ксерокопиями кое-каких материалов, сделанными днем раньше. Эти материалы я ещё не успел просмотреть. Принялся за чтение. Большинство из них не представляло интереса. Я выбрал наугад несколько абзацев и переписал их. Затем я обратился к ксерокопиям, сделанным ещё раньше в «Ленинке». Открыл папку с пометкой «О таинствах египтян», вынул из неё несколько листов и начал читать В. Ф. Иванова из его трактата «Тайны масонства»:

«Понятие «иллюминаты» означает носители света. Свет, о котором идет речь, не является божественным. Скорее это слепящий свет Люцифера. В 1775 году группа международных финансистов поручила Адаму Вейсхаупту создать на базе кодекса Люцифера план преобразования мира («Новый мировой порядок»).

Этот план был мастерски разработан специальной группой под руководством А. Вейсхаупта – втайне и в срок. И Вейсхаупт основал Орден иллюминатов 1 мая 1776 г., будучи деканом юридического факультета Ингольштадтского университета. Воспитанник иезуитов, он возненавидел своих учителей, но усвоил тайны их организации, извратив их и направив на достижение совершенно противоположной цели. По словам его соучастника, будущего французского революционера графа Мирабо, его метод заключался в том, что «под единым руководством множество людей, разбросанных по всему миру, стремятся к единой цели». Предполагалось осуществление длительной программы: разрушение основ религии, государства как института, дискредитация общепринятой философии и раскол человечества на два непримиримых, враждебных лагеря (каждому – своя идеология). Разделенный при помощи методов экономического воздействия мир низвергнется в пучину беспрестанных войн и революций, в результате чего человеческая жизнь утратит смысл, а личность – самооценку. Человечество потрясут катаклизмы, существующий социальный порядок будет уничтожен. На руинах установится новый режим. – Избраннику не составит труда управлять новым миром».

В Дрезденском государственном архиве находятся документы прусского посольства с 1780 по 1789 г. (том 9) и между ними под № 2975 собственноручное письмо короля Фридриха-Вильгельма II курфюрсту Саксонскому Фридриху-Августу III, написанное по-французски. Вот его русский перевод:

«Я сейчас узнал из достоверного источника, что одна из масонских сект, называющая себя Иллюминатами или Минервалами, после того, как её изгнали из Баварии, с невероятной быстротой распространилась по всей Германии и по соседним с нею государствам. Основные правила этой секты крайне опасны, так как они желают ни более, ни менее, как:

- 1) Уничтожить не только христианство, но и всякую религию.
- 2) Освободить подданных от принесенной ими присяги на верность монарху.
- 3) Внушить под названием «прав человека» своим последователям сумасбродные учения, идущие наперекор тому законному порядку, который существует в каждом государстве для охранения общественного спокойствия и благополучия; этим воспалить их воображение, рисуя им соблазнительную картину повсеместной анархии для того, чтобы они под предлогом свержения ига тирана, отказывались исполнить законные требования власти.
- 4) Позволяют себе для достижения своей цели употреблять самые возмутительные средства, причем они особенно рекомендуют «акву тофану», самый сильный яд, который умеют отлично готовить и учат этому приготовлению и других.

Поэтому я считаю своей обязанностью тайно оповестить об этом Саксонский Двор, чтобы уговорить его учредить строгий надзор над масонскими ложами. Тем более, что это «отродье» не преминет раздуть повсюду пламя восстания, опустошающего ныне Францию, т.к. масонские ложи, в которые вкрались иллюминаты, чтобы заразить и их, несмотря на бдительность хороших лож, которые всегда ненавидели этих чудовищ».

Я, быть может, колебался бы дать такой совет, если бы не почерпнул свои сведения из очень хорошего источника и, если бы сделанные мною открытия не были так ужасны, что, положительно, ни одно правительство не может относиться равнодушно к иллюминатам.

Н. В. На Лейпцигской ярмарке предполагается съезд всех главарей иллюминатов для их тайных переговоров. Быть может, тут могли бы их переловить.

*Берлин, 3 окт. 1789 года
Фридрих – Вильгельм».*

Затем мне попались на глаза безумные строчки, которые явно были взяты из кодекса Люцифера, или Ахримана: «...Мы спустим с привязи боевиков-террористов, нигилистов и атеистов, спровоцируем в разных точках мира ряд очагов социальной катастрофы с полным набором средневековых ужасов, чтобы наглядно показать народам сущность тоталитаризма, природу его жестокой, кровавой тирании. Граждане поневоле, будут братья за оружие, чтобы защищаться от террористических революционных групп. В конце концов, народные массы, разочарованные в христианстве, магометанстве, иудаизме и не ведающие, куда направить свои стопы, какому божеству поклоняться, примут без всяких поправок доктрину Люцифера-Ахримана, своевременно предложенную нами человечеству; наберет силу оппозиция – движение, противодействующее как апологетам прежних главных конфессий, так и атеистам. Они будут повержены, и это произойдет в один и тот же исторический период».

Эти последние прочитанные мной слова показали абсолютно точным предсказанием ситуации в сегодняшнем взрывоопасном мире, в котором мы очутились после крушения устойчивого двухполюсного паритета двух систем. Удивительно, что эти строчки написаны были сто, а может много больше лет назад. Рассуждения на этом не заканчивалось, но читать дальше этот бред было слишком уж омерзительно.

Решив, что пока с меня хватит, я отставил книги в сторону. Измотанный, я уснул, опустив листы на грудь, Через пару часов проснулся от жуткого холода. Было такое ощущение, будто стою голым на айсберге, дрейфующем от Южного полюса. В висках невыносимо ломило, голова раскалывалась, словно её зажали в пыточный обруч и закручивают гайки. По комнате

распространился странный запах сероводорода – так пахнут тухлые яйца. Я закрыл глаза. Крошечные голубые огоньки замельтешили в мозгу, они мигали, как сигнальные фонари на крышах далеких полицейских машин. Голова кружилась, боль в ней усилилась – никогда ещё мне не доводилось испытывать такую зверскую боль. Казалось, веки разбухли до невероятности. Я вновь открыл глаза и с ужасом обнаружил, что парю над диваном на высоте полутора метров. Ужас перешел в кошмар, когда я понял, что сверху разглядываю собственное тело.

Я ощутил легкое покалывание в позвоночнике, на глаза навернулись слёзы. Затем раздался голос. Он звучал тихо-тихо. Я затаил дыхание, пытаюсь уловить смысл речи. Голос зазвучал вновь – невнятные звуки, возникающие во тьме как бы сами по себе. Я внимал им, боясь пошевелиться, и, в конце концов, сумел различить слова:

– Твоё любопытство зашло слишком далеко. Пора перестать совать нос в явления и вещи, которые не выразить на человеческом языке. Учти: не подчинишься – предстанем перед тобой, но тогда будет поздно.

Я ответил осмысленной фразой, хотя мой рот оставался закрытым, губы даже не дрогнули:

– Чего вы хотите? Кто вы?

И, словно в ответ на мой вопрос, комната, и без того темная, погрузилась в непроглядный мрак, какой я, пожалуй, встречал только в подземелье каменноугольной шахты в Кузбассе, когда внезапно потух фонарь на каске. К моему крайнему изумлению, в этой кромешной тьме я даже неплохо видел! Я различил очертания некоего существа, находившегося в центре комнаты и облаченного в черное одеяние – похожее носят священники. Капюшон, накиннутый по самые брови, не позволял разглядеть его лицо. Странное существо зависло в воздухе, не касаясь ногами пола. Мне казалось, что я как будто опутан по рукам и ногам, чувствуя, как меня парализовала чья-то воля...

Незванный гость произнес хрипловатым голосом:

– Ты собрался на себе испытать, как взаимосвязаны свет и тьма.

Идея заслуживает внимания, но опыт, который ты намереваешься произвести, слишком опасен. Он гораздо опаснее, чем это может представить твое жалкое воображение. Так пусть же ларцы остаются закрытыми, а тайны умрут с теми, кто дал им жизнь!

Вот и все, что я запомнил. Несколько часов спустя я пробудился и мог бы счесть виденное и слышанное сном, если бы не странная вещь: палас оказался прожженным в том самом месте, над которым висел в воздухе мой ночной гость. Выгоревшее пятно имело узнаваемую форму пентаграммы.

Именно это обстоятельство заставило меня спланировать свои действия следующим образом: срочно достать материалы, переданные мне Верой Лурье и взяться за них вплотную.

«Волшебная флейта»

«Для публики, не знающей определенных таинств и не способной заглянуть сквозь плотный покров аллегории, «Волшебная флейта» какого-либо интереса представлять не может...»

*Проф. Й. Й. Энгель королю Фридриху Вильгельму II Прусскому,
Берлин, 8 марта 1792 года*

Летом 1790 года Моцарт взялся за сочинение музыки к опере «Волшебная флейта», произведению, над которым пришлось поломать голову не одному десятку просвещённых умов. Об этом известно из его письма Констанции от 3 июля 1790 года: «Прошу тебя, скажи Зюсмайру, этому простофиле, пусть он вышлет мне мою часть с первого акта, с интродукции до финала, чтобы мне начать инструментовку».

Пожалуй, самое проникновенное и проницательное суждение о либретто «Волшебной флейты» принадлежит великому Иоганну Вольфгангу фон Гёте. Сей посвящённый олимпиец, в своей беседе с секретарем Эккерманом 25 января 1827 года сказал:

«Лишь бы основной массе зрителей доставило удовольствие очевидное, а от посвящённых не укроется высший смысл, как это происходит, например, с „Волшебной флейтой» и множеством других вещей».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.